
Ева Вересова
Невеста под охраной,
или Стражница из Тихого Брода

Ева Вересова

Невеста под охраной, или Стражница из Тихого Брода

https://litres.ru/74815793
SelfPub; 2026

Аннотация

У меня нет дара. У меня семь братьев, сломанный нос и меч Северной заставы, первый, который доверили женщине. Платьев у меня нет вовсе.

А потом на мосту через Иву понесли кони, и я поймала посла Альвиза. Как мешок с мукой. Виконт Флоран де Сен-Мелен весит полмешка, носит кружева и бледнеет при виде крови.

Его хотят убить. Граф Холт велел не отходить от него ни днём, ни ночью. А чтобы никто не догадался, зачем стражница спит у его порога, виконт объявил на всю площадь, что я его невеста.

Бруна, конечно, обрадовалась. Теперь у меня смотрины: испечь каравай, вышить рушник, сжать сноп и сплясать «Колосок». А жених на Урожайник должен перенести меня через брод на руках.

Он меня не поднимет. Я проверяла.

Но он почему-то шьёт мне платье по ночам, лучше всех в городе падает и врёт так красиво, что я начинаю ему верить. Зря.

Самостоятельная история из цикла «Травницы Тихого Брода». Героев прежних книг вы тоже встретите.

Содержание

Часть первая. Караул 7
Глава 1. В которой я ловлю посла 7
Глава 2. В которой меня производят в невесты 24
Глава 3. В которой я учусь ходить в юбке 41
Глава 4. Флоран. Действие первое 60
Глава 5. В которой Бруна объявляет смотрины 75
Глава 6. В которой я пеку каравай 92
Глава 7. В которой виконт учится падать 109
Конец ознакомительного фрагмента. 117

Ева Вересова
Невеста под охраной, или Стражница из Тихого Брода

Ева Вересова
Невеста под охраной,
или Стражница из Тихого Брода
Травницы Тихого Брода. Книга седьмая

Аннотация

У меня нет дара. У меня семь братьев, сломанный нос и меч Северной заставы, первый, который доверили женщине. Платьев у меня нет вовсе.

А потом на мосту через Иву понесли кони, и я поймала посла Альвиза. Как мешок с мукой. Виконт Флоран де Сен-Мелен весит полмешка, носит кружева и бледнеет при виде крови.

Его хотят убить. Граф Холт велел не отходить от него ни днём, ни ночью. А чтобы никто не догадался, зачем стражница спит у его порога, виконт объявил на всю площадь, что я его невеста.

Бруна, конечно, обрадовалась. Теперь у меня смотрины:

испечь каравай, вышить рушник, сжать сноп и сплясать «Колосок». А жених на Урожайник должен перенести меня через брод на руках.

Он меня не поднимет. Я проверяла.

Но он почему-то шьёт мне платье по ночам, лучше всех в городе падает и врёт так красиво, что я начинаю ему верить. Зря.

Самостоятельная история из цикла «Травницы Тихого Брода». Героев прежних книг вы тоже встретите.

Часть первая. Караул

Глава 1. В которой я ловлю посла

Мешок с мельницы Петера весит четыре пуда. Я поднимаю такой с двенадцати лет, с пола на плечо, без помощи и без крика. Посол Альвиза весил меньше. Это я потом проверила.

И всё равно ничего тяжелее я в жизни не поднимала.

Но по порядку, потому что граф Холт велел мне всё рассказывать по порядку, а я его слушаюсь. Почти всегда.

* * *

Меня зовут Тильда Жернова. Мне двадцать два года, я младший страж Северной заставы, и в то утро, с которого всё началось, я стояла на мосту через Иву и считала телеги.

Это не наказание. Это служба. Ингрид так и сказала, когда ставила меня туда в шестом часу: «Жернова, это не наказание, это служба». И откусила яблоко так, что я поняла: наказание.

Накануне вечером я подралась у «Хромого гуся» с тремя возчиками из Каменца. Они начали первыми. Они сказали, что баба с мечом, это как гусь в сапогах: смешно и бесполезно, и что меня на заставу взяли из жалости, потому что на выселках девку такого роста всё равно никто замуж не возь-

мёт. Я им объяснила, что они ошибаются. Двоим объяснила кулаком, третьему лавкой. Лавка была старая, её не жалко, но тётя Клара всё равно записала её на заставу, и Ингрид утром прочла счёт вслух при всех.

Поэтому мост. Перед Урожайником через него идёт весь север: обозы с зерном, с яблоками, с шерстью, купцы, гуртовщики, бродячие лудильщики, бабы с курами. Всех надо записать, с каждого взять мостовой грош и следить, чтобы никто не продавал на мосту, потому что продавать на мосту запрещено указом Пима. За утро я записала сорок две телеги, отняла у старухи с выселок корзину слив, которые она продавала на мосту, отдала ей корзину обратно, потому что она меня знает с пелёнок и назвала дылдой, и выиграла грош у возчика, который заявил, что одной рукой перетянет «эту оглоблю в юбке».

Я была не в юбке. Я никогда не в юбке. На мне были штаны заставы, рубаха, серая суконная куртка, сапоги и меч. Меч у меня свой, по руке, Торвальд ковал его прошлой зимой и сказал, что такой длины ещё ни одной женщине не делал, а мужчинам делал, но не всем.

Возчика я перетянула. Он потом долго тряс рукой и говорил, что это не считается, потому что я выросла на мельнице.

Это правда. Тут надо объяснить.

* * *

Я с выселок. Это за мельницей, где живут те, кто на мельнице работает: грузчики, возчики, прачки, бондарь. Отец у

меня грузчик, мать прачка, а детей восемь. Семь сыновей и я, последняя.

Братья у меня все в отца. Огромные, молчаливые и всегда голодные. Когда они идут по улице друг за другом, от старшего к младшему, на выселках говорят «Жерновы пошли», и куры сами уходят с дороги. Мать говорила, что ждала девочку семь раз подряд, а на восьмой Мать-Земля её пожалела и дала, только перепутала и отсыпала мне из той же меры, что братьям. Так что я выросла, как они. Высокая, широкая в плечах, руки как у грузчика, нос, сломанный на ярмарке в шестнадцать лет, и шрам на подбородке от копыта Петеровой кобылы. Волосы у меня цвета соломы. Были ниже пояса. Теперь торчат, как стерня после жатвы, потому что два года назад я их отрезала сама, ножом, в сарае, перед тем как пойти проситься в стражу.

Мать плакала неделю. Отец ничего не сказал. Братья сказали, что теперь меня точно никто не возьмёт.

А в стражу взяли. Сначала капитан Гуннар, в городскую, на пробу, потому что Бруна ему велела. Потом, через год, граф Холт забрал меня на заставу. Он сказал, что ему нужны люди, которые не боятся, и что я, по его наблюдениям, не боюсь даже Бруны. Я первая женщина на Северной заставе, которая носит меч. Ингрид не в счёт: она дознаватель, у неё нож и голова, а меч ей не нужен.

Теперь про дар.

Вы, может быть, слышали, что у нас в Тихом Броде у всех

что-нибудь есть. Это почти правда. У графа Холта от вранья звенит в ушах. У Нелли Полыновой такой нос, что она через закрытую дверь скажет, что у вас было на ужин и с кем вы ужинали. У Руты из «Гуся» язык: она лизнёт ложку и назовёт, кто варил и о чём думал. Мельничиха Лотта слепая, а видит носом больше, чем мы глазами. У графини Агаты под пальцами растёт всё, даже то, что не должно. Даже мэтр Гроссе, аптекарь, говорят, в молодости чуял лихорадку по запаху, хотя сам он это отрицает и говорит, что чуял её по счетам.

А у меня ничего.

Я проверяла. В четырнадцать лет я ходила к графине Агате в школу, просилась. Она подержала меня за руки, долго, с закрытыми глазами, потом открыла глаза и сказала: «Тильда, у тебя руки». Я сказала: «Я знаю, что руки. А дар?» Она сказала: «Руки. Это немало. Ты увидишь».

Я увидела. Руками можно поднять мешок, перетянуть возчика, разнять драку и, как выяснилось, поймать посла. Больше руками ничего особенного не сделаешь. Но я не жалуюсь. Мне хватает.

* * *

В восьмом часу по мосту проехал Свен с телегой яблок. Свен Ингридин муж, конюх при заставе и Гуннаров племянник, руки у него как лопаты, и он каждое утро возит Ингрид антоновку. Уже третий год. Даже теперь, когда они женаты и живут в одном доме, он всё равно возит ей яблоки на заста-

ву, в корзине, через весь город, потому что, как он объяснил мне однажды, обещал.

— Тильда, — сказал он, остановившись. — Ингрид велела передать. Через час проедет посольство. Альвизское. Чтобы ты ровно стояла.

— Я всегда ровно стою.

— Она сказала, ещё ровнее. И чтобы никого не била.

— А если надо будет?

Свен подумал. Он всегда думает долго, Ингрид говорит, что за это его и любит: пока Свен думает, глупость успевает сама уйти.

— Она про это ничего не говорила, — сказал он и дал мне яблоко.

Про посольство в городе говорили неделю. Что из Альвиза, из-за гор, едет посол, настоящий виконт, подписывать с нашим герцогом Штальбергом какой-то договор. Что подписывать будут на Урожайник, прямо у нас, потому что герцог проводит лето в Тихом Броде, при жене, а король велел ему из Тихого Брода никуда не трогаться, пока жена не родит. Что виконт молодой, красивый, богатый, что у него шесть лошадей, белых, и что он везёт с собой учителя танцев. Последнее Бруна узнала от почтаря и повторяла с особенным удовольствием: учителя танцев! Своего! В дорогу!

Я тогда подумала, что человек, который возит с собой учителя танцев, наверное, не умеет ходить сам. Я не ошиблась. Почти.

* * *

Они показались в девятом часу.

Сперва верховой, в синем плаще, с трубой. Он проскакал по мосту, протрубил на середине, отчего у старухи с выселок разлетелись сливы, и крикнул, чтобы дорогу освободили для посольства его светлости. Я освободила. Телеги отогнала к перилам, баб с курами к краю, лудильщика с его кастрюлями за конец моста. Мне это нетрудно: когда я говорю «отойдите», отходят.

Потом шестеро всадников, в синем, с саблями. Впереди них человек лет пятидесяти, на гнедом, лицо такое, будто его рубили топором, да не дорубили: шрам через щёку до уха, усы и брови как у филина. Он посмотрел на меня, на мой меч, и я увидела, что он оценивает: не опасна ли. Решил, что не опасна. Зря.

А за всадниками карета.

Я таких не видела никогда. Она была тёмно-синяя, лакированная, вся в золотых завитушках, а на дверце золотой журавль на одной ноге. Колёса красные, а шесть лошадей и правда белые, в синих попонах, с перьями на головах. Всё это звенело, блестело и пахло так, что даже на мосту, над рекой, было слышно: сладко, цветами и чем-то ещё, горьковатым, как кожура от лимона, которые привозят на Урожайник.

За каретой ехала вторая, попроще, с сундуками, и третья, крытая, вроде фургона.

Народ на мосту замер. Даже куры замолчали.

Карета въехала на мост.

И тут передняя лошадь закричала.

Я не знала, что лошади так кричат. Не ржут, а кричат, как человек. Она вскинулась на дыбы, вся, с перьями, ударила копытами в воздух, а когда опустилась, рванула вперёд, и за ней рванули остальные пять. Кучер завалился назад на козлах, вожжи вылетели у него из рук. Карета подпрыгнула, накренилась, ударилась боком о перила, и перила затрещали.

Перила на нашем мосту Пим чинил тринадцать лет назад, на свои деньги. Он хороший человек, но перила он делал из сосны.

Я не думала. Я потом много раз пыталась вспомнить, о чём я в ту минуту думала, и выходит, что ни о чём. Ноги понесли меня сами, руки сами. Я перехватила переднюю, ту, что кричала, за повод под самой мордой, у удил. Меня дёрнуло так, что сапоги поехали по доскам. Я упёрлась. Меня проволокло шагов пять, как мешок по полу. Лошадь мотала головой, и я видела её глаз, белый, безумный, а на шее у неё, под хомутом, текло красное.

Я повисла на поводе всем весом. А весу во мне, извините, как в хорошем мешке.

Лошадь встала. За ней, толкаясь, вставали остальные.

А дверца кареты от удара о перила распахнулась.

И из неё, как горох из лопнувшего стручка, вылетел человек.

Он вылетел боком, вверх ногами, в чём-то голубом и кру-

жевном, и полетел прямо на сломанные перила, а за перилами была Ива, мелкая в этом месте, по колено, но с камнями. Я его видела всего одно мгновение: лицо белое, рот открыт, рука вытянута, и на этой руке, прижатое к груди, что-то маленькое и белое.

Повод я не бросила. Я перехватила его левой, а правой поймала.

Поймала я его, как ловят мешок, когда тот срывается с плеча у соседа: под колени и под спину, и прижала к себе. Он оказался лёгкий. Легче мешка. Он врезался в меня, я качнулась, лошадь дёрнула повод, и мы втроём, я, лошадь и посол, сделали по мосту какой-то общий шаг, похожий на пляску. Потом всё остановилось.

Я стояла на мосту, держа в левой руке повод белой лошади, а на правой руке, на сгибе, как держат невесту на пороге, у меня лежал мужчина.

* * *

Я посмотрела на него. Он посмотрел на меня.

У него были чёрные кудри до плеч, растрёпанные, и лицо такое, какое бывает на картинках в Бруниных книгах про любовь: тонкое, с бровями, нарисованными как будто кистью. А ресницы у него были длиннее моих раза в три. Это меня почему-то возмутило больше всего. Глаза тёмные, почти чёрные. Он был бледный до синевы. От него пахло тем самым, горьковатым и сладким, только в сто раз сильнее, и у меня зачесалось в носу.

— Мадемуазель, — сказал он. Голос у него был, как у Олеи, когда она в храме поёт: низкий, мягкий, будто его гладят. — Вы держите меня как невесту.

— Полмешка, — сказала я.

Я не хотела этого говорить. Это у меня вылетело само, как вылетает у грузчика, когда ему подают груз. Мы на мельнице всегда так говорим, прикидывая.

— Простите? — сказал он.

И тут белое маленькое, которое он прижимал к груди, высунуло голову, оскалилось и вцепилось мне в руку. В ту, которой я его держала. Прямо в мякоть под большим пальцем.

Это была собака. Я потом узнала, что это собака. Тогда я решила, что крыса в кружевах. Она была с мою ладонь, белая, лохматая, с бантом, и зубы у неё были как иголки.

— Бижу! — вскрикнул он. — Бижу, нельзя! Мадемуазель, она не со зла, она испугалась…

Я не уронила его. Я вам это говорю, чтобы вы знали: я его не уронила. Я его поставила. Аккуратно, на ноги, на доски, как ставят мешок, который нельзя бить, потому что в нём яйца. Собака висела у меня на руке. Я её отцепила двумя пальцами за загривок и подала ему. С пальцев у меня капало.

Он посмотрел на мою руку. На кровь.

И побелел ещё больше, хотя больше, казалось, было некуда. Глаза у него закатились, и он начал медленно, красиво, как в храме кланяются, оседать.

Я подхватила его ещё раз. Теперь уже под мышки. Он по-

вис на мне, голову откинул.

— Мать честная, — сказала старуха со сливами. — Убила.

— Не убила, — сказала я. — Сомлел.

Тут на мосту начался шум. Подскакал тот, со шрамом, спрыгнул с гнедого, выхватил саблю и закричал что-то не по-нашему. Из второй кареты выбрался старик в чёрном, с тростью, и тоже закричал, только тише. Лудильщик уронил кастрюли. Куры, которые молчали, вспомнили, что они куры. А с той стороны моста, от мельницы, по дороге шла телега с мукой, а на телеге сидела Бруна.

Это важно. Запомните, что на телеге сидела Бруна.

* * *

Посол пришёл в себя, пока тот, со шрамом, кричал на меня. Он открыл глаза и сразу понял, где находится, это я видела по лицу. Он лежал на руках у здоровенной девки в штанах, на мосту, при всём народе. Народ смотрел. Народ уже начинал улыбаться. Кто-то сзади хихикнул, кто-то сказал «гляди, гляди, баба мужика несёт», и хихиканье пошло по мосту, как огонь по соломе.

Я знаю, что такое, когда над тобой смеются. Я с этим выросла. И я видела, как у него дрогнули губы. Он испугался не лошадей, не перил и не крови. Он испугался, что над ним смеются.

А потом он сделал то, чего я от него не ждала.

Он улыбнулся.

Широко, белозубо, весело, на весь мост. Встал с моих рук

сам, легко, будто и не падал. Одёрнул кружева. Поправил кудри. Взял мою покусанную руку в обе свои, наклонился и поцеловал. Прямо в кровь. Я видела, как его передёрнуло, но он поцеловал.

И сказал громко, звонко, так, что слышно было на обоих берегах:

— Друзья мои! Не смейтесь! Вы видите древний обычай Альвиза! Когда жених впервые ступает на землю невесты, он падает к её ногам, а она поднимает его! Это значит, что она его принимает!

На мосту стало тихо.

— Мадемуазель, — сказал он мне, не выпуская руки и глядя снизу вверх: в сапогах я выше его на полпальца. — Позвольте представиться. Флоран де Сен-Мелен. Посол его светлости герцога Альвизского. И, как вы только что изволили подтвердить при всех, ваш жених.

У меня открылся рот. Я его закрыла.

— Какой ещё жених? — сказала я. — Ты что, головой ударился?

— Я падал, мадемуазель, вы же видели. — Он подмигнул. Едва заметно, одним глазом, мне одной. И в этом подмигивании было: пожалуйста. Подыграй. Пожалуйста, иначе они будут смеяться всю жизнь.

Я не подыграла. Я не умею. Я стояла и смотрела на него, и у меня с руки капало на мост.

Но это уже было неважно.

Потому что телега с мукой как раз въехала на мост. И Бруна, сидевшая на мешках, вся белая, в муке по локоть, большая, как стог, всё слышала. Каждое слово. Я видела её лицо. Так у кошки делается лицо, когда она видит, как из подпола вылезает мышь, жирная, медленная и прямо к ней.

— Жених! — сказала Бруна. Голос у неё такой, что им можно созывать ополчение. — Тильда! Жених?! Посол?! Мать-Земля милосердная, дожила! Петер! Петер, гони! Гони в город, люди должны знать!

— Бруна, это не… — начала я.

— Он сказал при всех! На мосту! Я слышала! Все слышали! — Бруна привстала на мешках, и телега под ней качнулась. — По обычаю сказано: назвал при людях до Урожайника, значит, смотрины! Ох, Тильда. Ох, девка ты моя. Смотрины!

Телега покатилась в город, громыхая, и над ней, над мешками, над всей дорогой летел Брунин голос: «Смотрины! Жернова! Посла! На мосту!»

Я стояла и понимала, что через четверть часа об этом будет знать весь Тихий Брод. Через полчаса выселки. Через час мать.

— Кто эта женщина? — спросил посол Флоран де Сен-Мелен вполголоса, глядя вслед телеге.

— Бруна, — сказала я. — Пекарша. Ты пропал, виконт.

— Почему?

— Потому что ты ей только что дал смотрины. А она их

ждала с тех пор, как я косу отрезала.

* * *

Дальше было вот что.

Старик с тростью подошёл и посмотрел на посла так, как смотрит отец на сына, который разбил окно, сломал стул и теперь стоит и улыбается. Он был сухой, седой, весь в чёрном, с белым воротником, и спину держал так прямо, как держит её только мой отец, когда несёт два мешка сразу. Он сказал послу что-то очень короткое по-альвизски. Посол перестал улыбаться и ответил ещё короче.

Потом старик повернулся ко мне. Поклонился. Не кивнул, а поклонился, как кланяются в храме, низко, с тростью.

— Мадемуазель, — сказал он по-нашему, чисто, только «р» у него катилось, как камешек. — Вы остановили шесть лошадей и поймали человека. Благодарю вас. Я мэтр Обри, учитель танцев его светлости. Позвольте взглянуть на вашу руку.

Он взглянул. Достал из кармана платок, белый, обвязал мне руку, крепко, умело, как обвязывают не учителя танцев, а люди, которые видели много ран. Я тогда этого не заметила. Я заметила потом.

Из главной кареты, в которую так и не вернулся посол, выглянула женщина.

Она была высокая, тонкая, вся в сером шёлке, с тёмными гладкими волосами, уложенными так, что ни один не торчал. Кожа белая, как Брунина мука. В руке веер. Она посмотрела

на сломанные перила. На лошадь. На посла. Потом на меня. Сверху вниз, хотя сидела, а я стояла. На мои сапоги, на штаны, на куртку, на волосы. Она смотрела на меня, как смотрят на сапог, в котором кто-то оставил на столе грязь, и думают, позвать слугу или просто отвернуться.

— Флоран, — сказала она. Голос у неё был холодный и сладкий, как мороженое у Бруны на Солнцеворот. — Сядьте в карету. Вы запачкаете кружева.

— Кузина, — сказал посол и поклонился ей так, будто на нём не было покусанной собакой рубашки и сломанных перил за спиной. — Познакомьтесь. Моя невеста.

Женщина помолчала. Потом медленно раскрыла веер и прикрыла им нижнюю половину лица.

— Как мило, — сказала она. — Местный колорит.

И скрылась в карете. От неё осталось облачко запаха. Цветочного, тяжёлого, сладкого, такого, от которого начинает болеть голова. Фиалка. Я этот запах знаю, у нас фиалки растут у храма, только эти пахли сильнее, как будто их собрали тысячу и выжали.

Я тогда тоже ничего не подумала. Я тогда вообще думала только о том, что скажет мать.

* * *

Тот, со шрамом, капитан, всё ещё стоял у передней лошади. Лошадь дрожала и косила глазом. Он гладил её по морде, а сам смотрел на хомут.

Я подошла. Мне надо было посмотреть: она под хомутом

кровила.

— Не трогать, — сказал капитан по-нашему, хрипло.

— Я не трогаю. Я смотрю. У неё под хомутом кровь.

Он посмотрел на меня. Потом, ни слова не говоря, расстегнул пряжку и сдвинул хомут.

Под хомутом, вдавленный в кожу, был репей. Обыкновенный, колючий, какие растут у нас по канавам и цепляются к собакам. Только этот был обмотан ниткой. А сквозь него, остриём наружу, был вбит тонкий сапожный гвоздь, вершка в полтора. Пока лошадь шла шагом, хомут лежал свободно. А когда на мосту дорога пошла чуть в горку и хомут налёг, гвоздь вошёл.

Капитан вынул репей двумя пальцами. Посмотрел. Потом посмотрел на меня.

— Вы ничего не видели, — сказал он.

— Видела, — сказала я. — Я страж заставы. Я обязана видеть. Это я графу Холту скажу.

Капитан сжал репей в кулаке. Усы у него зашевелились, как у кота.

— Скажите, — сказал он наконец. — Граф Холт и так знает. Нас предупреждали.

— О чём?

Он не ответил. Он завернул репей в платок и сунул за пазуху.

Я обернулась. Посол Флоран де Сен-Мелен стоял у сломанных перил и смотрел вниз, на Иву, на камни, на которые

он бы упал, если бы я не поймала. Собачку он прижимал к щеке. Лицо у него было не весёлое. Совсем. Он был белый и смотрел на камни, как смотрят на собственную могилу.

Потом он почувствовал, что я на него гляжу. Поднял голову. И сразу, в одно мгновение, лицо у него стало другое: весёлое, светское, с улыбкой, как будто кто-то перевернул картинку.

Я тогда подумала: вот же он врёт. Всем лицом врёт. Как это у него так быстро?

Я не знала тогда, что это его ремесло. Я вообще про него ничего не знала.

* * *

Посольство уехало в город, в «Хромой гусь», где для них ещё с прошлой недели старый Йорген выселил из лучших комнат весь второй этаж. Я осталась на мосту. Лудильщик собирал кастрюли. Старуха собирала сливы. Перила висели над водой.

Через полчаса прибежал мальчишка с заставы, Тимов посыльный, рыжий, весь в веснушках, и закричал ещё с того конца моста:

— Жернова! Жернова! Граф Холт велел! В «Гусь»! Сейчас! — Он добежал, согнулся, упёрся руками в колени, отдышался и поднял на меня глаза. Глаза были круглые, восхищённые. — А правда, что ты замуж выходишь?

Я посмотрела на него. Он отступил на шаг.

— За посла? — спросил он уже тише. — Бруна там на

площади всем рассказывает. Говорит, он к тебе с моста в руки упал. Говорит, это судьба.

— Это лошадь, — сказала я. — С гвоздём под хомутом.

— А Бруна говорит, судьба.

Я поправила меч. Посмотрела на руку, обвязанную белым платком учителя танцев. На платке был вышит вензель, маленький, в уголке. Две буквы. Не «Ф» и не «С».

«Э» и «Д».

Я и это тогда не заметила. Я заметила только, что от моей руки до сих пор пахнет его духами, горькими и сладкими, лимонной коркой и чем-то тёплым, и что от этого запаха у меня почему-то горят уши.

Я пошла в город.

С того конца моста, над рекой, над сломанными перилами, мне вслед кричала старуха со сливами:

— Тильда! А свадьба-то когда?

Глава 2. В которой меня производят в невесты

Через площадь я шла, как сквозь строй.

Тихий Брод маленький. В нём новость не идёт, а прыгает, с крыльца на крыльцо, через заборы, как кошка. Пока я дошла от моста до «Хромого гуся», меня поздравили одиннадцать раз.

Вдова Мартенс вышла из калитки, взяла меня за руку, ту, что не покусана, и заплакала. Торвальд-кузнец высунулся из кузни, посмотрел на меня, подумал и сказал: «Ну. Меч, значит, теперь на стену». Мэтр Гроссе остановил меня у аптеки и строго спросил, не беременна ли я, потому что при поспешных браках это первое, о чём надо думать. Мальчишки бежали за мной до самого трактира и пели: «Тильда-жердь, посол-перо, полетели под ведро». Не знаю, что это значит. По-моему, они сами не знали.

А на крыльце пекарни стояла Бруна и рассказывала. Вокруг неё было человек тридцать. Я услышала обрывок, проходя: «…летит, люди добрые, прямо из кареты, как пух с одуванчика, а она ему руки!..» Бруна увидела меня, всплеснула руками и закричала: «Вот она! Невеста! Тильда, детка, я книгу уже достала!»

Я не остановилась. Я сделала вид, что меня зовёт служба. Меня и правда звала.

* * *

«Хромой гусь» гудел, как улей, в который сунули палку.

Внизу, в зале, сидело полгорода, хотя был ещё не обед, и все делали вид, что пришли пить пиво. Во дворе стояла синяя карета с журавлём, и вокруг неё ходили синие всадники с саблями. Йорген-младший носился с подносом, красный, как всегда, только теперь ещё и счастливый, потому что на Урожайник у него свадьба с Миной, дочкой молочника, и он с весны красный от счастья, его даже Кеша перестал дразнить. Тётя Клара стояла за стойкой, прямая, и смотрела на меня поверх кружек тяжёлым взглядом. Она мне не тётя, её все так зовут. Это она вчера записала лавку на заставу.

— В малой комнате, — сказала она. — Граф там. И герцог. Иди, жениха не заставляй ждать.

Она сказала это без улыбки. Тётя Клара вообще не улыбается. Но в углу рта у неё что-то дёрнулось.

Я пошла.

В кухонной двери стояла Рута. Рута у нас кухарка, то есть она теперь герцогиня Штальберг, жена главного казначея Короны, но в «Гусе» она всё равно кухарка, потому что, как она говорит, герцогиней можно быть и у плиты, а у плиты без неё нельзя. Ей двадцать шесть, она маленькая, смуглая, с чёрной косой под косынкой, и живот у неё под фартуком уже было видно. Она держала половник и смотрела на меня снизу вверх. Мне она по плечо, даже ниже.

— Тильда, — сказала она. — Я сейчас слышала, как ты

его назвала. На мосту. Мне Бруна передала. «Полмешка».

— Ну.

— Это хорошо, — сказала Рута. — Про моего Бруна в первый день сказала, что в нём одни пуговицы. Теперь у нас колыбель. Иди. Только руку мне сперва покажи.

Она размотала платок учителя танцев, посмотрела на укус, понюхала, будто это суп, и сказала, что ничего, чисто, и что собака, видно, ест лучше, чем половина моей заставы. Намазала гусиным жиром и завязала обратно. Платок она мне отдала, сложив.

— Хороший платок, — сказала она. — Шёлк. Альвизский. А вензель не его.

— Чей?

— Не знаю. Не «Ф». Иди, иди. Они там уже ругаются.

* * *

Они там не ругались. Они молчали, и молчание было хуже.

Малая комната в «Гусе» небольшая, с одной дверью на кухню и окном во двор. Там Йорген рядится с возчиками, а Рута год назад кормила в ней герцога, когда его травили. Теперь за столом сидели граф Холт, герцог Штальберг, Ингрид и Тим. С другой стороны стола сидели посол, учитель танцев и тот, со шрамом, капитан. Собачка лежала у посла на коленях и рычала на всё подряд.

А под столом, вытянув шею, лежал гусь.

Это наш гусь, из «Гуся». Его зовут Казначей. Он хромой,

одноглазый, старый и ненавидит всех, кроме герцога Штальберга, при котором состоит уже второй год. Зимой он живёт в Сольмаре, в казначействе, и щиплет просителей, а летом приезжает с герцогом домой. Сейчас он лежал у герцогского башмака и смотрел одним глазом на собачку. А собачка смотрела на него. Между ними, это было видно, уже началась война.

Граф Холт поднял голову, когда я вошла.

Граф Холт у нас начальник Северного отделения Особого отдела. Ему за сорок, он высокий, седой на висках, со шрамом через бровь, и он слышит, когда врут. Не догадывается, а слышит: у него в ушах звенит. Поэтому врать ему никто не пробует, кроме графини, его жены, которая, говорят, в молодости врала ему полгода, и он на ней всё равно женился.

— Жернова, — сказал он. — Садитесь.

Я села на лавку у двери. Ингрид, не оборачиваясь, протянула мне через плечо яблоко. Я взяла. Ингрид у меня начальница. Она рыжая, высокая, с косой короной, дознаватель первого разряда, и ест яблоки, когда думает, а думает она всегда. Это она меня учила на заставе. Она говорит, что из меня выйдет толк, если я научусь сначала думать, а потом бить. Я пока учусь.

— Докладывайте, — сказал граф. — С моста. Всё, что видели.

Я доложила. Про трубача, про лошадей, про крик, про хомут. Про репей с гвоздём. Капитан со шрамом при этом

смотрел в стол, а когда я дошла до репья, вынул из-за пазухи платок и положил его перед графом. Развернул. Репей лежал на белом, с гвоздём наружу, и гвоздь был ржавый от крови.

Граф посмотрел на репей. Потом на капитана.

— Капитан Гро, — сказал он. — Где ночевали?

— В Нижних Ключах, ваше сиятельство. На почтовом дворе. Лошади стояли в общей конюшне.

— Кто запрягал?

— Наши конюхи. При мне.

— Хомут смотрели?

Капитан помолчал.

— Нет, — сказал он. — Хомут не смотрели. Колёса смотрели, оси смотрели, упряжь смотрели. Под хомут не заглядывали.

— Под хомут никто не заглядывает, — сказал герцог Штальберг.

Это он первый раз заговорил. Герцог Штальберг длинный, тощий, весь застёгнутый, с пепельными волосами и очень светлыми глазами, и говорит он так, будто читает вслух ведомость. Год назад его чуть не отравили, и его отпаивали солью, всем «Гусем». Теперь он немного потолстел и иногда улыбается, но говорит всё так же.

— Под хомут никто не заглядывает, — повторил он. — Поэтому туда и положили. Гвоздь войдёт, когда лошадь пойдёт в гору с полной нагрузкой. От Нижних Ключей до нашего моста подъём только один, на самом мосту. По расчёту,

карета должна была перевернуться на мосту и упасть в Иву. В этом месте мелко, по колено. Но камни.

— Я видел камни, — сказал посол.

Он сказал это тихо, и все на него посмотрели. Он сидел, держа собачку, и улыбался. Но улыбка у него сидела на лице, как чужая шляпа.

Граф Холт посмотрел на него. И я увидела, что он потёр ухо. Правое. Едва заметно, костяшкой пальца, как трут, когда комар пищит.

Я запомнила. Я тогда не знала, зачем запоминаю.

* * *

Граф объяснил. Коротко, как он всегда объясняет.

Месяц назад, ещё в Альвизе, посольству подбросили письмо. Без подписи. В письме было сказано, что посол не доедет до подписания Соляного договора. Альвизский герцог письму не поверил, но к послу приставили капитана Гро с шестью саблями. В дороге было два случая. В горах на посольство обвалился камень. В Каменце на постоялом дворе в комнате посла ночью загорелась занавеска. Оба раза решили, что случай.

— Третий раз, это уже не случай, — сказал граф. — Это привычка.

Подписывать договор будут на Урожайник, у нас на площади. До Урожайника двадцать шесть дней. Всё это время посол живёт в «Гусе», ездит смотреть город, мельницу, школу графини, а потом поедет в Зальцгруд смотреть копи, по-

тому что Альвиз покупает у нас соль и хочет видеть, откуда. Герцог Штальберг, как лицо, которое подписывает от Короны, отвечает перед королём за то, чтобы посол до подписания дожил.

— А я отвечаю перед герцогом, — сказал граф. — И мне нужен человек.

— У него капитан, — сказала я. — И шесть сабель.

— Шесть сабель в синих плащах. Их видно за версту. Они ходят за послом строем, и любой, кто захочет его убить, будет знать, где искать. А убить его хотят тихо. Не ножом в спину на площади, а так, чтобы вышел несчастный случай. Лошадь понесла. Камень упал. Занавеска загорелась. Против этого сабли не помогут.

— А кто поможет?

Граф посмотрел на меня.

Ингрид откусила яблоко. Громко. Тим посмотрел на свои сапоги, начищенные так, что в них отражался потолок. Тим у нас говорит по четыре слова в день и ничего не делает просто так, даже когда смотрит на сапоги.

— Нужен человек, — сказал граф, — который будет при после всегда. Днём и ночью. В комнате, в карете, на улице, за столом. Не в двадцати шагах, а рядом. Который будет смотреть под хомуты, под кровать, на перила и на крыши. И которого никто не примет за охрану.

— Меня все примут за охрану, — сказала я. — У меня меч.

— Меч мы снимем.

— Я без меча никуда.

— Меч, — сказал граф терпеливо, — мы снимем. И вас никто не примет за охрану, потому что час назад на мосту при сорока свидетелях посол объявил вас невестой.

Я встала.

Ингрид, не оборачиваясь, протянула руку назад и потянула меня за куртку вниз. Я села. Ингрид сильная.

— Ваше сиятельство, — сказала я. — Это он сдуру. Он упал и испугался, что над ним смеются. Это не всерьёз.

— Я знаю, что не всерьёз, — сказал граф. — Поэтому это и годится. Невеста при женихе ходит всюду. Это никого не удивит. Сударыня Пешт уже объявила смотрины, а по её обычаям невеста до Урожайника от жениха ни на шаг. Вы будете ходить с ним по городу, сидеть с ним за столом, ездить с ним в карете, и любой, кто захочет подойти к послу близко, будет смотреть на вас и думать: а, это та дылда с выселок, которая его поймала. Смешная пара. И не подумает, что вы на службе.

— А ночью?

Все посмотрели на посла.

Посол погладил собачку.

— В Альвизе, — сказал он задумчиво, — есть древний обычай. Невеста до свадьбы спит у порога жениха. На коврике. Чтобы стеречь его сон от злых духов.

Граф Холт закрыл глаза. Потёр ухо. На этот раз двумя

пальцами и долго.

— У меня в ушах звенит, ваша светлость, — сказал он, не открывая глаз. — Как на колокольне. Нет в Альвизе такого обычая.

— Нет, — согласился посол. — Но если вы скажете об этом сударыне Пешт, она огорчится. А если не скажете, через неделю он будет в Тихом Броде.

Граф открыл глаза. Посмотрел на посла. И я впервые в жизни увидела, как граф Холт смеётся: беззвучно, одними плечами.

— Годится, — сказал он.

* * *

Я сидела и молчала. Я вам честно скажу: я испугалась. Не убийцы. Убийц я не боюсь, убийца, это мешок, который хочет упасть тебе на голову, от него надо отойти или поймать. Я испугалась слова «невеста».

Я никогда никому не была невестой. На выселках девок сватают в шестнадцать. Ко мне не сватались. Один раз пришёл бондарев сын, посидел с отцом, выпил квасу, посмотрел на меня, как я несу от колодца два ведра на одном пальце, и ушёл, и больше не приходил. Мать сказала, что я его напугала. Я сказала, что я просто несла вёдра. Мать сказала, что это и напугало.

А летний жребий у Бруны я тянула два года подряд, и оба раза мне выпадали записки, которые потом оказывались «пустыми»: такие парни, которые на Солнцеворот с костра пры-

гали с другой. Я не плакала. Я привыкла. Есть девки для женитьбы, а есть девки для работы. Я для работы.

И вот теперь мне велят быть невестой. Посла. В кружевах. Который весит полмешка и падает в обморок от крови.

— Ваше сиятельство, — сказала я. — Я не умею быть невестой.

— Научитесь, — сказал граф. — Двадцать шесть дней.

— Я в платье не хожу.

— Будете ходить.

— Я… — Я искала, что ещё сказать. — Я ем руками! Я плюю через забор! Я на прошлой неделе сломала возчику руку!

— Палец, — сказала Ингрид.

— Палец! Какая из меня невеста посла?

— Никакая, — сказал граф. — Именно поэтому никто не поверит, что вы на службе. Убийца будет искать охрану. А вы, простите, Жернова, ни на кого не похожи.

— Почему я? — сказала я. — Ингрид…

— Ингрид замужем за Свеном, — сказала Ингрид. — И весь город это знает. И Свен расстроится. А когда Свен расстраивается, он перестаёт возить яблоки.

— Нелли…

— У Нелли двойня и Тим, — сказал граф. — И нос. Нос нам понадобится отдельно. Вы, Жернова, одна во всём Северном отделении, кто незамужем, не боится и уже поймал этого человека один раз. — Он помолчал. — И ещё. Вы оста-

новили шесть лошадей. За руку. Я спросил у Свена, можно ли так. Он сказал, что нельзя. А вы сделали.

Это меня почему-то задело больше всего остального. Я не знаю почему.

— Это приказ? — спросила я.

— Это приказ, — сказал граф.

Я посмотрела на посла. Посол смотрел на меня. Он больше не улыбался. Он смотрел внимательно, серьёзно, и чёрные глаза у него под ресницами были какие-то виноватые.

— Мадемуазель Жернова, — сказал он. — Я прошу прощения за мост. Я не должен был. Это было… — Он поискал слово. — Это было не по роли.

— Что?

— Не по правилам. — Он улыбнулся, но уже по-другому, неуверенно. — Я не хотел, чтобы над вами смеялись. И надо мной. Если вам противно, я скажу всем, что пошутил. Ваш граф придумает другое.

Граф Холт посмотрел на меня. Ингрид посмотрела на меня. Герцог Штальберг посмотрел на меня с таким видом, будто считал в уме вероятность.

Я подумала о том, что сейчас творится на площади. О Брунe с книгой. О матери. О том, что если посол сейчас выйдет и скажет «пошутил», то смеяться будут уже не над ним. Надо мной. Всю жизнь. Тильда-жердь, которую даже в шутку замуж не взяли.

— Не противно, — сказала я. — Служба.

— Благодарю вас, — сказал посол очень тихо.

* * *

Тут встал учитель танцев.

Он всё это время сидел молча, положив обе руки на трость. Сухой, седой, в чёрном. Когда он встал, граф Холт тоже приподнялся. Совсем немного, на вершок, и сразу сел обратно, будто передумал. Но я видела. Граф Холт не встаёт ни перед кем, кроме короля и графини. Я это знаю точно, мне Ингрид рассказывала.

Перед учителем танцев он привстал.

— Мадемуазель, — сказал старик. — Если вам предстоит быть невестой посла Альвиза, вам понадобится несколько вещей. Вам понадобится платье. Вам понадобится умение ходить в этом платье. И вам понадобится танец. На Урожайник посол будет обязан открывать бал. С невестой.

— Я не танцую.

— Вы стоите на ногах так, как мало кто стоит, — сказал старик. — Я видел на мосту. Кто так стоит, тот может танцевать. Я буду с вами заниматься. Каждый день. Это будет и прилично, и полезно: учитель танцев при невесте, это не подозрительно, это даже трогательно.

— А зачем вам это? — спросила я. Не очень вежливо. Ингрид дёрнула меня за куртку.

Старик посмотрел на меня. Глаза у него были серые, выцветшие, умные. И в них было что-то такое, что я видела только у одного человека: у нашего старого мельника, Пете-

рова отца, когда он смотрел на мельницу, которую строил сорок лет.

— Затем, мадемуазель, — сказал он, — что этот договор мне дорог. И его светлость мне дорог. А вы только что спасли и того и другого. Танец, это самое малое, чем я могу заплатить.

Он поклонился мне и сел.

Граф Холт снова потёр ухо. Только теперь не правое, а левое. И лицо у него стало задумчивое.

* * *

Потом пришла графиня.

Она не постучала. Такие не стучат. Дверь из кухни открылась, и вошла та, в сером шёлке, с веером, и с ней пришёл запах, фиалковый, такой густой, что Ингрид перестала жевать.

— Флоран, — сказала она. — Вы здесь. Я искала. Господа. — Она наклонила голову, ровно настолько, насколько надо, ни на волос больше. — Графиня Сабина де Вер. Кузина его светлости. Дама протокола при посольстве по воле его светлости герцога Альвизского. Простите, что прерываю. Я хотела лишь спросить, не нужна ли помощь.

Она посмотрела на меня. Улыбнулась. Я видела такие улыбки у кошек, когда они сидят у мышиной норы.

— Я слышала, у моего кузена теперь невеста, — сказала она. — Какая неожиданность. Мадемуазель, вам, должно быть, непросто. Альвизский двор, это не… — она поискала слово и нашла, — не мельница. Если позволите, я буду рада

помочь вам освоиться. Платье, поклон, как держать вилку. Мелочи. Но при дворе по мелочам судят.

— Я держу вилку, — сказала я.

— Как? — спросила графиня ласково.

Я не знала, что ответить. Я держу вилку, как держу. Рукой.

— Вот видите, — сказала графиня. — Завтра в десять, в моей комнате. Я научу вас сидеть. Сидеть, это начало всего.

Она повернулась к послу.

— Флоран, вас ждут счета. И, умоляю, переоденьтесь. На вас кровь.

Она вышла. Фиалка осталась.

Ингрид положила огрызок на стол, очень аккуратно.

— Мне она нравится, — сказала Ингрид. — Как гадюка. Красивая и понятно, чего ждать.

— Ингрид, — сказал граф.

— Молчу.

А посол, когда графиня вышла, выдохнул. Я это видела. Плечи у него опустились, и он погладил собачку, и собачка лизнула ему палец. А потом он посмотрел на капитана Гро, и капитан посмотрел на него, и они друг друга, кажется, поняли без слов. Не любили они эту графиню. Оба.

* * *

Совещание кончилось, как кончаются все совещания у графа: он встал и сказал «всё». Потом сказал мне: меч сдать Ингрид, куртку тоже, ночевать сегодня в «Гусе», в прихожей у посольских комнат, на тюфяке, а одежду мне принесут.

— Какую одежду? — спросила я с подозрением.

— Женскую, — сказал граф. — Марта Пим уже обещала.

— Марта Пим мне по пояс!

— Это её трудности, — сказал граф и ушёл.

Герцог Штальберг задержался. Он встал, длинный, застегнул сюртук на последнюю пуговицу и сказал мне:

— Сударыня Жернова. Моя жена просила передать, что будет кормить вас обоих. Отдельно. Со своей кухни. Она сказала, что ничего другого послу есть нельзя, пока она не попробует. — Он помолчал. — Она сказала ещё одну вещь, но я не уверен, что могу её повторить.

— Повторите.

— Она сказала: «Скажи этой дылде, что если она его уронит, я её пересолю».

Он ушёл. Гусь ушёл за ним, но на пороге обернулся и зашипел на собачку. Собачка залаяла. Посол сказал «Бижу, тише», и собачка не стала тише.

Мы остались вчетвером: посол, учитель танцев, капитан и я. Ингрид забрала мой меч и тоже ушла. Мне без меча было так, как без руки.

— Мадемуазель, — сказал посол, вставая. — Если позволите…

И тут в дверь, в ту, что из кухни, постучали. Громко, кулаком, так, что дверь подпрыгнула. И не дожидаясь ответа, вошла Бруна.

С книгой.

Книга была толстая, в холщовом переплёте, прожжённом с угла. Я эту книгу знаю: в прошлом году Бруна по похожей книге вела пробу Руты с герцогом и весь город ходил смотреть, как герцога взвешивают на мучных весах. Только эта книга была другая. Потоньше и постарше. На переплёте выжжено: «Книга смотрин. Ведена пекарями Пешт».

— Ваша светлость! — сказала Бруна послу. Голос у неё дрожал от счастья. — Я по делу. Я насчёт смотрин. Вы при людях назвали девку невестой? Назвали. До Урожайника? До. Значит, по обычаю смотрины. Последний раз у нас смотрины были при моей свекрови, Мать-Земля ей пухом, а книгу я сохранила. Тут всё записано. Каравай, рушник, сноп, «Колосок». Это невеста. А жених… — Она открыла книгу на закладке, провела пальцем по строчке и подняла на посла глаза, сияющие, мокрые. — А жених, ваша светлость, на Урожайник несёт невесту через брод. На руках. Туда, через Иву, у старой ивы. Донёс, значит, свадьба. Уронил в воду, значит, рано тебе жениться, жди до следующего Урожайника.

Посол Флоран де Сен-Мелен медленно повернул голову и посмотрел на меня.

Посмотрел всю. С сапог до макушки. На плечи. На руки. Потом опустил глаза на свои руки, тонкие, белые, в перстнях.

Я смотрела на него. Я прикидывала. Я с двенадцати лет прикидываю на глаз, кто сколько унесёт.

— Мадемуазель, — сказал он наконец. — Сколько, вы говорили, во мне? Полмешка?

— Полмешка, — сказала я.

— А в вас?

Я подумала. Честно, как на мельнице.

— Мешок с четвертью, — сказала я. — В сапогах.

Посол помолчал. Учитель танцев за его спиной кашлянул в кулак. Капитан Гро смотрел в окно, и усы у него шевелились.

— Брод глубокий? — спросил посол у Бруны.

— По колено, — сказала Бруна. — А посерёдке по пояс. И дно камни. Скользкие.

— Понятно, — сказал посол.

Он погладил собачку. Собачка зевнула.

— Двадцать шесть дней, — сказал посол Флоран де Сен-Мелен и улыбнулся. Улыбка у него была отчаянная. — Мадемуазель Жернова. Как вы думаете, вы научите меня поднимать мешки?

Глава 3. В которой я учусь ходить в юбке

Платье принесли вечером.

Марта Пим пришла сама, в чепце с лентами, с узлом под мышкой, поджав губы, и прошла через весь зал «Гуся», не глядя по сторонам, как идут на похороны или на ревизию. Марта Пим жена нашего бургомистра. Она маленькая, сухая и считает себя лучшей хозяйкой в городе, и год назад весь город ставил у неё в тетради на то, попросит герцог добавки или нет. Тетрадь у неё сохранилась. Я потом узнала, что в тот же вечер она её открыла на новой странице.

— Вот, — сказала она и положила узел на стол в прихожей. — Моё воскресное. Синее. Я в нём венчалась. Если порвёшь, скажу Олдрику, и он тебе выпишет штраф.

— Сударыня Пим, я в нём не помещусь.

— Это моё воскресное платье, — сказала Марта Пим, — и я в нём венчалась.

Она ушла. Мне показалось, что у неё мокрые глаза. Потом Йорген-младший объяснил мне, что у Пимов сын, и Марта всю жизнь хотела дочь, чтобы отдать ей синее платье, и что это, наверное, тоже считается.

Я развернула узел.

Платье было синее, шерстяное, с белым воротничком и с пуговками, мелкими, как горох, на спине, штук сорок. В по-

ясе оно было мне как раз на одну ногу. В плечах, если бы я его надела, оно бы лопнуло со звуком, с каким лопается по шву мешок, когда его перегрузили. А в длину оно доставало мне до колена, хотя Марте, это было видно по подолу, доставало до полу.

Я не стала мерить. Я его сложила, положила на лавку у стены и села на свой тюфяк.

* * *

Тюфяк мне постелили в прихожей.

Посольство в «Гусе» заняло весь второй этаж. По лестнице поднимаешься и попадаешь в небольшую прихожую, а из неё три двери. Направо лучшая комната, с окном на восток, на площадь. Там посол. Год назад там жил герцог, когда его травили, и Рута рассказывала, что из этого окна виден рассвет над ратушей и колодец, у которого его взвешивали. Налево две комнаты поменьше: в одной учитель танцев, в другой графиня. Капитан Гро и сабли спали внизу, во флигеле, и сменялись по двое во дворе. Слуг было трое: камердинер посла, горничная графини, тихая, как мышь, и кучер.

Я обошла всё. Это я умею. Меня Ингрид учила: пришёл на место, обойди. Где окна, где двери, куда открываются, что под окнами, что над крышей, где лестница скрипит. Окно у посла выходило на площадь, высоко, второй этаж, но под окном был навес над крыльцом, а с навеса можно влезть, если ты не толстый. Я потрогала раму: крепкая, задвижка новая. Под кроватью ничего, кроме собачьей подушки. В шкафу

кружева, рубашки, камзолы, столько, что хватило бы одеть всю мою семью, и ещё осталось бы на свадьбу. На столе зеркало, щётки, коробочки, флаконы. Я открыла один и понюхала. Горькое и сладкое: лимонная корка и что-то тёплое. Это от него так пахло. Я поскорей закрыла.

В углу стоял большой кованый сундук, запертый. Я спросила камердинера, что там. Камердинер, пожилой, лысый, с лицом, как у Бартоломея, только хитрее, сказал, что там «гардероб его светлости для торжественных случаев», и встал перед сундуком так, что я поняла: не откроют.

Я запомнила.

Окно у графини выходило во двор. У учителя танцев тоже во двор, и окно у него было открыто, и на подоконнике стояли три горшка с геранью, которые он, видно, привёз с собой. Кто возит с собой герань? Я не знаю. Учитель танцев, видно, возит.

Потом я села на тюфяк и стала ждать ночи.

* * *

Ночь в «Гусе» шумная до полуночи, а потом тихая. Внизу, в зале, пели. Потом перестали. Потом тётя Клара гремела ставнями. Потом скрипнула лестница, это Йорген-младший пошёл провожать Мину. Потом вернулся. Потом ничего.

Я лежала на тюфяке в рубахе и штанах, накрывшись своей курткой, которую мне всё-таки отдали, потому что я сказала, что без куртки не усну. Меч забрали. Я положила рядом скалку. Скалку мне дала Рута. Она сказала: «Если что, бей.

Ею я пельмени раскатываю, она привычная». Скалка была дубовая, тяжёлая. Я её одобрила.

За правой дверью долго ходили. Не громко, мягко, будто босиком. Шаги туда, к окну. Обратно. Потом тихо. Потом опять. Потом скрипнула кровать. Потом снова шаги.

— Мадемуазель, — сказали за дверью. Тихо-тихо. — Вы спите?

— Нет, — сказала я. — Я на службе.

— Простите. — Пауза. — Можно я с вами поговорю?

— Через дверь?

— Через дверь. Граф Холт сказал, что дверь должна быть закрыта на задвижку. А я не хочу её открывать. Я в ночной рубашке. С кружевами. Вы будете смеяться.

— Я не смеюсь на службе.

— Тем более. — Я слышала, как он сел на пол. По ту сторону двери, близко. Дверь чуть скрипнула, будто он прислонился к ней спиной. — Мадемуазель Жернова, что значит «полмешка»?

Я подумала. Это мне нравилось: вопрос, на который я знаю ответ.

— Мешок с мельницы Петера весит четыре пуда, — сказала я. — Пуд, это сорок фунтов. Четыре пуда, это сто шестьдесят. Мешок носят на плече. Его надо уметь взять: присел, обхватил, рывком на колено, с колена на плечо. Я с двенадцати лет ношу.

— А я?

— А ты полмешка. Ну, на глаз. Если честно, без малого мешок, фунтов сто сорок. Я сказала, чтобы обидно было.

— Было обидно, — сказал он. В голосе у него, по-моему, была улыбка. — А вы?

— Я тебе говорила. Мешок с четвертью.

— Двести фунтов?

— Ну, — сказала я. — Сто девяносто. Это в сапогах.

За дверью было тихо.

— Мадемуазель, — сказал он наконец. — Я никогда в жизни не поднимал ничего тяжелее… тяжелее… — Он задумался. — Тяжелее Бижу. И ещё однажды сундука. Но сундук нёс вместе с отцом.

— С отцом? Виконт таскал сундуки?

Тишина. Короткая, на один вдох.

— Это было в детстве, — сказал он. — Мы… переезжали. Отец был… при дворе. Его часто посылали. Неважно. Скажите, а как вы остановили лошадей?

Я рассказала. Это недолго. Взяла под уздцы, упёрлась, повисла. Он слушал, не перебивая. Потом спросил, не страшно ли мне было. Я сказала, что не успела. Он спросил, а потом. Я сказала, что потом было страшно, когда ты при всех сказал «невеста». Он засмеялся, тихо, будто испугался, что засмеётся громко.

— А мне было страшно всё время, — сказал он. — С той минуты, как лошадь закричала. Я боюсь лошадей. С детства. Я их вообще боюсь, всех. Они большие, и у них глаза сбоку,

и непонятно, о чём они думают.

— Лошадь думает о том, что ей больно или что хочется есть, — сказала я. — Больше она ни о чём не думает. Она, как мой брат Бажен.

— У вас есть брат Бажен?

— У меня их семь.

Он помолчал. Потом сказал, медленно, будто пробовал на вкус:

— Семь братьев. И все такие, как вы?

— Больше.

— Мадемуазель, — сказал он, — я начинаю бояться не только лошадей.

Я засмеялась. Нечаянно, вслух. Потом закрыла рот ладонью. На службе не смеются. Мне Ингрид говорила.

* * *

Он ещё спросил, зачем я пошла в стражу. Я не ответила. Это моё, я про это никому не рассказываю. Я сказала, что так вышло. Он не стал допытываться. Это мне понравилось. Он сказал, что понимает: у него тоже много такого, что «так вышло». А потом спросил, не боюсь ли я темноты.

— Нет, — сказала я. — А ты?

Он не ответил долго. Потом сказал:

— Можно, вы ещё что-нибудь расскажете? Неважно что. Про мельницу. Про брата Бажена. Я лягу, а вы рассказывайте. Мне так лучше спится.

Мне стало смешно. Потом не смешно. Взрослый мужчи-

на, посол, виконт, боится темноты и просит, чтобы ему рассказывали про мельницу. Я подумала: а ведь его хотят убить. Три раза уже пытались. Камень, занавеска, лошадь. Наверное, и я бы не спала.

Я рассказала ему про мельницу. Как она стоит на запруде, как вода идёт на колесо, как колесо скрипит на три голоса, и мы с братьями по скрипу знали, сколько мешков сегодня смелют. Как Петер, мельник, женился на Лотте, которая слепая, а слышит лучше всех, и как она на мельнице по звуку жернова говорит, что зерно сырое. Как мы в половодье спасали мешки. Как Бажен однажды заснул в ларе с отрубями, и его искали всей выселкой, а он спал.

За дверью стало тихо и ровно. Он заснул. Я слышала, как он дышит.

А потом, позже, когда я уже сама почти задремала, на скалке, я услышала, как он встал. Тихо-тихо. Чиркнуло огниво. Под дверью появилась полоска света. И что-то зашуршало. Долго, ровно, как шуршит ткань.

Я подумала: пишет. Посол. Письма пишет герцогу. Или бумаги смотрит. И заснула по-настоящему, впервые в жизни на службе. Ингрид бы меня убила.

* * *

Проснулась я в шестом часу от того, что Бижу лаяла на гуся.

Гусь стоял на верхней ступеньке лестницы. Как он туда забрался со своей ногой, я не знаю. Он вытянул шею и шипел

на дверь посла. А из-за двери, из щели внизу, лаяла собака.

— Казначей, — сказала я. — Иди отсюда.

Гусь посмотрел на меня одним глазом. Подумал. И сел мне на сапог. Сапог стоял рядом с тюфяком, без меня. Гусь сел в него, то есть на голенище, и стал смотреть на дверь.

Я села, потянулась. Платье Марты Пим лежало на лавке, где я его оставила.

Только это было не то платье.

То есть то самое, синее, шерстяное, с белым воротничком и пуговками. Но оно стало длиннее. По подолу шла полоса синего шёлка, на ладонь, ровная, подшитая так, что не было видно стежков. Оно стало шире. В боках, под руками, вставлены клинья, тоже синие, из того же шёлка, тёмного, как вечернее небо, и так ловко, что казалось, будто так и было. Плечи распороты и сшиты по-новому, с запасом. Пуговки на спине сохранились все сорок, только теперь между ними была шнуровка, которую можно было распустить.

Я взяла его в руки. Я не понимаю в шитье, я иголку держу, как держат шило. Но я знаю, сколько времени надо, чтобы переделать мешок. А это была работа на целую ночь. Для очень хороших рук.

Я посмотрела на дверь учителя танцев. Закрыта. На дверь графини. Закрыта. На дверь посла. Закрыта.

Под дверью посла, в щели, лежала нитка. Синяя, шёлковая, длинная. Я подняла.

И тут дверь открылась, и он вышел. В халате, тоже с кру-

жевами, лохматый, с собачкой. Зевнул, прикрыв рот рукой. На руке, на указательном пальце, была ранка. Маленькая, свежая, будто укололся.

— Доброе утро, мадемуазель, — сказал он. — Вы прекрасно рассказываете про мельницу. Я спал, как убитый. Простите. Неудачное выражение. — Он посмотрел на платье у меня в руках. — Какое красивое платье. Это Марты Пим?

— Его кто-то перешил, — сказала я. — Ночью.

— Да? — Он поднял брови. — Удивительно. Наверное, мэтр Обри. Он старый, ему не спится. У стариков бывают странные привычки. Он, кажется, однажды вышил себе жилет. А может, горничная графини. Она тихая. Тихие люди все что-нибудь шьют.

— А палец у тебя что?

Он посмотрел на палец, будто впервые увидел.

— Комары, — сказал он. — У вас на севере огромные комары. Как лошади.

И ушёл умываться.

Гусь на моём сапоге посмотрел ему вслед и отвернулся. Демонстративно, всем телом. Рута мне потом сказала, что гусь всегда отворачивается, когда врут. Я тогда не поверила. Гуси не понимают, когда врут. Это граф Холт понимает.

* * *

В десять я пошла к графине.

В платье. Я его надела. Я не хотела, но граф сказал: «Жернова, это приказ», а приказ, это приказ. Оно сидело. Оно си-

дело так, как будто его шили на меня, хотя его шили на Марту Пим, а потом переделали ночью неизвестно кто. Подол доставал до щиколоток. Плечи не жали. Только ходить в нём было невозможно.

Вы ходили когда-нибудь в длинной юбке, если всю жизнь ходили в штанах? Юбка цепляется. Она путается в ногах. Шагнёшь широко, как привыкла, а она тебя держит, будто кто-то схватил за щиколотки. Я дважды чуть не упала на лестнице. На третий раз я подобрала её руками до колен и пошла так. Внизу, в зале, кто-то присвистнул. Я обернулась. Свистнувший сделал вид, что поперхнулся пивом.

Графиня де Вер сидела в своей комнате у окна и пила чай.

Комната у неё была меньше, чем у посла, но там пахло так, что у меня сразу заслезились глаза. Фиалка. Везде. На подушках, на шторах, на ней самой. На столике стояли флаконы, штук десять, и все фиолетовые. Горничная, та, тихая, мышка, стояла у стены и смотрела в пол.

— Мадемуазель Жернова, — сказала графиня. — Как точно. Входите. Нет, не так.

— Как не так?

— Вы вошли, как входят в конюшню. Выйдите и войдите снова.

Я вышла. Вошла.

— Вы вошли, как входят в конюшню, где ждёт лошадь, которую надо подковать. Это лучше. Но всё ещё конюшня. Не надо смотреть по углам. Вы входите в комнату к даме, а

не в засаду.

Я ничего не сказала. Я входила в засаду. Я всегда вхожу в засаду. Меня так учили. Посмотреть, где окна, где двери, кто где стоит и что у кого в руках.

У графини в руках была чашка. В левой.

— Сядьте, — сказала она.

Я села. На стул напротив. Стул был тонкий, гнутый, на тонких ножках, альвизский, и когда я на него села, как сажусь на лавку, всем весом, разом, он сказал «хрусь». Не громко. Но я почувствовала, как одна ножка подо мной ушла вбок.

Я встала. Стул остался стоять, только криво.

Графиня посмотрела на стул. Потом на меня. И я видела, что ей приятно.

— Вот, — сказала она ласково. — Вот с этого и начнём. Садиться надо не всем весом, а частью. Колени вместе. Спина прямая. Руки на коленях, одна на другой. Опускаться медленно, как будто под вами не стул, а облако, и вы боитесь его продавить. Попробуйте ещё раз. Мари, подайте мадемуазель другой стул. Покрепче.

Горничная подала табурет. Простой, деревянный, наш, из «Гуся». Графиня явно велела его принести заранее.

Я села на облако. Колени вместе. Это было неудобно. Я всю жизнь сижу, расставив колени, так устойчивее. А тут колени вместе, спина прямая, руки одна на другой, и я сидела, как сидит курица на жёрдочке, и думала, что если сейчас

кто-нибудь ворвётся в дверь с ножом, мне придётся сперва раздвинуть колени, потом встать, потом подобрать юбку, и меня десять раз убьют.

— Неплохо, — сказала графиня. — Для первого раза. Теперь вилка.

Она разложила передо мной на столике приборы. Три вилки. Два ножа. Ложку. Ещё одну ложку, маленькую. Щипчики. И стала объяснять, что для чего. Рыбная вилка, вилка для мяса, вилка для сладкого. Нож держат так, вилку так, указательный палец сверху, локти не расставлять, есть маленькими кусочками, не жевать с открытым ртом, хлеб не кусать, а отламывать.

Я слушала. Я честно слушала. Я даже взяла вилку так, как она показала.

— Мадемуазель, — сказала графиня, — вы держите вилку, как держат вилы.

— Я и держу вилы. На сенокосе. Каждый год.

— На альвизском дворе не косят сено.

— А кто косит?

Графиня посмотрела на меня поверх чашки. Глаза у неё были светло-карие, почти жёлтые, как у кошки, и в них ничего не было, кроме удовольствия.

— Слуги, мадемуазель, — сказала она. — Те, кто держит вилы.

Я положила вилку. Аккуратно, рядом с другими. Я не бросила. Я хотела бросить. Ингрид меня учила: сначала думай,

потом бей. Я думала.

— Простите, — сказала графиня. Без всякого раскаяния. — Я не хотела вас обидеть. Я хотела объяснить. Мой кузен Флоран очень добр. Он не мог позволить, чтобы над ним смеялись на мосту, и сказал первое, что пришло в голову. Это благородно. Но вы же понимаете, мадемуазель, что это не… — Она поискала слово. — Не всерьёз.

— Понимаю.

— Вот и хорошо. Тогда нам будет проще. Двадцать шесть дней вы будете при нём, город посмотрит на смотрины, посмеётся, а потом посольство уедет, а вы останетесь здесь, со своей мельницей. И никто не будет в обиде. Я права?

— Правы.

— Чудесно. — Она поставила чашку. Левой рукой. — Тогда скажите мне, мадемуазель, раз уж мы друг друга понимаем. Где вы спите?

Я посмотрела на неё.

— В прихожей. На тюфяке.

— У двери кузена?

— Там все двери. И ваша тоже.

— И моя, — согласилась графиня. Улыбнулась. — Это так трогательно. Альвизский обычай, мне сказали. Невеста у порога. Я, признаться, о нём не слышала. Но я ведь так давно не была дома. Обычаи меняются. — Она помолчала. — А граф Холт? Я видела, как он с вами говорил. Он ваш начальник?

— Он начальник отделения, — сказала я. — Я страж заставы. Он всем начальник.

— А теперь, когда вы невеста? Вы всё ещё страж?

Я не знала, что ответить. Граф сказал: никто не должен знать. Но про то, что я страж, знал весь город.

— Я в отпуске, — сказала я. — На смотрины. Бруна велела.

Графиня посмотрела на меня ещё мгновение. Потом засмеялась, тихо, мелодично, как ложечка о стакан.

— Бруна велела, — повторила она. — Чудесный город. Ступайте, мадемуазель. Завтра в десять. Мы будем учиться делать реверанс. И, умоляю, наденьте под платье что-нибудь, кроме сапог.

Я опустила глаза. Из-под синего подола торчали мои сапоги. Других башмаков у меня не было.

* * *

После графини меня ждал учитель танцев.

Это было совсем другое. Он занимался со мной во дворе, за конюшней, где никого не было, кроме гуся, который пришёл посмотреть. Он снял сюртук, остался в жилете, сухой, прямой, с тростью, и сказал:

— Покажите мне, как вы стоите.

Я встала.

Он обошёл меня кругом. Потрогал тростью мою спину, между лопатками. Потом колено.

— Хорошо, — сказал он. — Очень хорошо. Вес на обе-

их ногах. Колени мягкие. Плечи свободны. Вы стоите, как стоят люди, которым приходилось держать тяжёлое, и знают: если стоять неправильно, уронишь. Это главное. Остальное мелочи.

— Графиня сказала, я сижу, как на вилах.

Учитель танцев посмотрел на окно графини, которое выходило во двор. Окно было закрыто.

— Графиня де Вер училась сидеть при дворе, — сказал он. — Я учился стоять в строю. Это разные школы. Теперь поклон. Не реверанс, реверанс завтра, госпожа графиня обещала. Поклон. Смотрите.

Он поклонился. Не как кланяются у нас: пополам, быстро, будто спину ломит. Он поклонился медленно, правую ногу чуть назад, рука к груди, голову вниз, и выпрямился. И в этом было что-то такое, отчего мне захотелось встать прямее.

— Повторите.

Я повторила. Вышло, как будто я хочу поднять с земли мешок, а его там нет.

— Хорошо, — сказал он. Без насмешки. — Ещё. Медленнее. Вы не поднимаете груз. Вы показываете человеку, что не боитесь опустить перед ним голову. Это и есть поклон. Не унижение. Доверие.

Я повторила. Ещё раз. Ещё.

На десятый раз он сказал: «Довольно». Я выпрямилась. Он смотрел на меня как-то странно, внимательно.

— Мадемуазель, — сказал он, — где вы научились так держать спину?

— На мельнице.

— Нет, — сказал он. — Не только. Так держат спину люди, которые решили однажды, что их не согнут. Я видел таких. Немного. На войне.

— Вы воевали? Учитель танцев?

Он помолчал. Потом надел сюртук.

— Учителя танцев тоже бывают молодыми, мадемуазель, — сказал он. — И им тоже приходится. До завтра.

Он ушёл, опираясь на трость. Гусь посмотрел ему вслед и не отвернулся.

* * *

Вечером Рута прислала ужин. Сама принесла, наверх, хотя я её просила не ходить по лестницам с животом. Она сказала, что живот у неё не стеклянный, и что она должна видеть, как он ест. Она поставила на стол в комнате посла две миски, хлеб, кувшин, попробовала из каждой миски его ложкой, посчитала до пяти, кивнула и сказала: «Ешьте». Это у неё привычка с прошлого года. Она и мужу до сих пор пробует, хотя его давно никто не травит.

Посол ел с удовольствием. Он ел так, что хотелось смотреть: аккуратно, красиво, с вилкой и ножом, как учила графиня, и при этом жадно, как едят люди, которые знают, что такое голод. Я ела напротив. Руками. Хлеб я кусала. Рута смотрела на нас обоих по очереди и улыбалась.

— Ну? — сказала она послу, когда он доел.

— Это прекрасно, мадам, — сказал он. — У нас в Альвизе так не готовят.

— У вас в Альвизе так не готовят, потому что у вас там Жак, — сказала Рута. — Жак готовит красиво. А это едят. Хорошо, что вы едите. Мой первый месяц не ел. — Она забрала миски. Посмотрела на меня. — А ты, Тильда, ешь, как мой брат Йорген. То есть как будто он мне брат. Ну, ты поняла.

Она ушла. Посол смотрел на меня через стол.

— Мадемуазель, — сказал он. — Вы так и не сказали, как вам платье.

— Хорошее платье, — сказала я. — Кто бы его ни перешивал. Ходить в нём нельзя.

— Почему?

— Ноги путаются. Шаг не тот. Если что, не побежишь.

Он подумал.

— Вы ходите, как в штанах. Широко. Платье этого не любит. Его надо водить, как лошадь, шаг короче, носок вперёд, и как будто вы чуть-чуть толкаете подол коленом. Вот так.

Он встал. Прошёлся по комнате. В штанах и халате, но я видела, как он идёт: не шагает, а плывёт, будто на нём не халат, а тот самый синий подол, и будто подол его слушается. Он дошёл до окна, повернулся, и полы халата повернулись за ним, как вода за веслом.

Я смотрела на него с открытым ртом.

— Где ты так научился? — спросила я.

Он остановился. Посмотрел на меня. И я опять увидела, как у него лицо поменялось, в одно мгновение, как картинку перевернули.

— Мэтр Обри, — сказал он легко. — Он меня всю жизнь учит. Он учит всех. И мужчин, и дам. Чтобы мужчина вёл даму в танце, он должен знать, как она ходит. Это азбука.

Гусь, который сидел у двери, медленно повернулся к нам хвостом.

Я посмотрела на гуся. Потом на посла. Посол посмотрел на гуся.

— Странная птица, — сказал посол.

— Он отворачивается, когда врут, — сказала я. — Мне так Рута говорит. Я не верю.

— И правильно, — сказал посол. — Это совпадение. Птицы ничего не понимают.

Гусь не повернулся обратно.

А я в ту ночь, на тюфяке, долго не спала. Я думала про ранку на пальце. Про синюю нитку под дверью. Про то, как он прошёл по комнате в халате, будто в бальном платье. И про то, что посол, который в жизни не поднимал ничего тяжелее собачки, таскал с отцом сундуки, «когда переезжали».

Виконты не переезжают. Виконтов переезжают. Это даже я знаю.

За дверью было тихо. Потом опять чиркнуло огниво, и под дверью появилась полоска света. И опять зашуршало.

Я встала, на цыпочках, без сапог, и заглянула в щель.

Щель была узкая. Я увидела только край стола, свечу и руку. Тонкую, белую, без перстней. Рука держала иголку. Иголка шла ровно, быстро, туда-обратно, как челнок, а под ней было что-то серое, моё. Моя куртка. Та, что я днём бросила у него на стуле, потому что она порвалась на локте, когда я ловила его на мосту.

Я отошла от двери и легла.

Я ничего не сказала. Ни ему, ни утром, ни Ингрид. Я не знала, как об этом сказать. Есть вещи, которые видишь в щель, и сразу понятно, что тебя туда не звали.

Но утром моя куртка лежала на тюфяке рядом со мной. Сложенная. На локте была заплата, серая, из того же сукна, и такая ровная, будто её вырастили там, а не пришили.

Глава 4. Флоран. Действие первое

Действующие лица:

ВИКОНТ ФЛОРАН ДЕ СЕН-МЕЛЕН, посол его светлости герцога Альвизского. Его играет Флоран Бюи, двадцати восьми лет, актёр «Труппы Бюи». Амплуа: первый любовник, герои, принцы. Умирал на сцене сто двенадцать раз.

МЭТР ОБРИ, учитель танцев. Его играет граф Эмерик д'Обри, настоящий посол Альвиза. Без грима. Грим ему не нужен: никто не смотрит на учителей танцев.

ГРАФИНЯ САБИНА ДЕ ВЕР, кузина виконта. Играет себя. Мне не говорили, хорошо ли.

КАПИТАН БАСТЬЕН ГРО, начальник конвоя. Молчит. Если бы он был в труппе, он играл бы убийц. Подозреваю, он догадывается.

НЕВЕСТА. Тильда Жернова, младший страж Северной заставы. Не играет. Не умеет. Я проверял.

БИЖУ, собака. Единственная в труппе, кому заплачено вперёд.

ГУСЬ ПО ИМЕНИ КАЗНАЧЕЙ. Зритель. Критик. Отворачивается.

Место действия: город Тихий Брод, Северная Аверния. Трактир «Хромой гусь», второй этаж. Ночь.

* * *

Явление первое. Комната с окном на восток. Свеча. На

столе синий шёлк, ножницы, игольник. Виконт сидит на полу, спиной к двери. За дверью, на тюфяке, спит Невеста. Слышно, как она дышит: ровно, глубоко, как дышат люди с чистой совестью и крепкой спиной.

Я обещал себе, что буду вести этот дневник. Отец всегда говорил: роль, которую не записал, играешь вслепую. Записывай, Флоран, что было, что сказал, что ответили, где был свет. Потом пригодится.

Я записываю. Только это не роль. То есть роль. Только мне её дали без текста.

Начну с того, кто я. На случай, если этот листок найдут после моей смерти, которую мне так старательно готовят. Пусть хотя бы знают, кого хоронить.

Меня зовут Флоран Бюи. Я не виконт. Я никогда не был виконтом, хотя сыграл их, по моему счёту, одиннадцать, не считая двух маркизов и одного принца крови, которого в третьем акте отравили в «Падении дома Монкур». Я родился в фургоне, на дороге между двумя городками, в ночь, когда труппа давала «Подкидыша», и через неделю после рождения меня уже выносили на сцену в корзине: я играл подкидыша. Говорят, я не плакал. Отец говорит, что это был мой лучший выход.

Отец держит труппу. «Труппа Бюи», двенадцать человек, три фургона, вернее два: третий сгорел прошлой зимой, вместе с декорациями к «Королю Ипполиту», с занавесом, с костюмами на шесть пьес и с ящиком, где лежала выручка за

два месяца. Отец полез его вытаскивать и вытащил, только ящик был пустой: кто-то вынул деньги раньше, чем загорелся фургон. Я думаю, из-за денег он и загорелся. Отец кашляет с тех пор. Моей сестре Колетт четырнадцать, она играет девочек, мальчиков и иногда собаку, если собака заболела. Бижу болеет редко.

После пожара мы задолжали. Ростовщику в столице, за новый фургон, за ткань, за всё. Триста крон. Это больше, чем труппа зарабатывает за год, если год хороший, а хороших лет у нас не бывает.

Вот почему я здесь.

* * *

Явление второе. Воспоминание. Задник: провинциальный городок в Альвизе, площадь, подмостки, два фонаря. Весна. После представления.

Мы давали «Принца-изгнанника». Это наша кормилица: принц, которого предал брат, бежит в чужую страну, влюбляется в дочь трактирщика и в пятом акте возвращается, чтобы победить на поединке. Я играю принца. Поединок у меня хороший. Я фехтую с девяти лет, у отца был в труппе старый Гастон, он когда-то служил в настоящем полку, и он учил меня каждое утро, пока не умер. Рапиры у нас, конечно, тупые. Но Гастон говорил: тупая рапира в руке дурака ничем не лучше палки, а в руке мастера ничем не хуже острой, разница только в том, что она не убивает. Я не знаю, правда ли это. Я никогда не дрался по-настоящему.

После спектакля за подмостки пришёл старик. Сухой, седой, в чёрном, с тростью. Он долго смотрел, как я снимаю грим. Потом сказал:

ГРАФ Д'ОБРИ. Вы хорошо умираете, мсье Бюи.

ФЛОРАН. Благодарю, мсье. Я много практиковался.

ГРАФ Д'ОБРИ. А жить вы умеете так же хорошо? Месяц. На глазах у тех, кто хочет вас убить.

Он объяснил. Он объяснял, как объясняют дипломаты: коротко, сухо и так, что вопросов остаётся больше, чем было. Что он граф д'Обри. Что его светлость герцог посылает его в Аверню подписывать Соляной договор. Что договор нужен Альвизу, как воздух: соль у нас морская, дорогая, её варят на побережье в солеварнях, и цену на неё сто лет держат несколько домов, которые этой солью богатеют, а народ солит щи, как в долг берёт. А на севере, в Аверни, есть Зальцгруд, копи, и там теперь, после какой-то реформы, соль чистая и дешёвая. Если договор подпишут, соль подешевеет вдвое. Если не подпишут, ничего не изменится.

ГРАФ Д'ОБРИ. Есть люди, которым выгодно, чтобы не изменилось ничего. Мне прислали письмо. Посол не доедет до подписания. Я стар, мсье Бюи. Я не боюсь умереть. Я боюсь умереть, не подписав.

ФЛОРАН. Чего же вы хотите от меня?

ГРАФ Д'ОБРИ. Я хочу, чтобы вы стали послом. Молодым, красивым, заметным. В синей карете с журавлём. Чтобы все смотрели на вас. А я поеду рядом, учителем танцев. На учи-

телей танцев не смотрит никто.

ФЛОРАН. А если меня убьют?

ГРАФ Д'ОБРИ. Вас будут охранять. Капитан Гро и шесть сабель. А в Авернии граф Холт, это лучший сыщик севера, я ему напишу. Он будет знать.

ФЛОРАН. А если всё-таки убьют?

Граф помолчал. Потом достал кошелёк и положил на мой гримировальный столик. Кошелёк был тяжёлый.

ГРАФ Д'ОБРИ. Сто крон вперёд. Двести по возвращении. Если не вернётесь, двести получит ваш отец.

Ремарка: тут надо было сказать «нет». Любой разумный человек сказал бы «нет». Но я не разумный человек. Я актёр. И мне за всю жизнь ни разу не предлагали такой роли.

Я сказал «да».

Отец не знает. Отец думает, что меня пригласил на месяц один граф учить своих детей декламации. Колетт знает, она подслушала, она всегда подслушивает. Она плакала и сказала, что если меня убьют, она меня убьёт. Я обещал не умирать. Я много раз обещал это публике в четвёртом акте и всегда выполнял к пятому.

* * *

Явление третье. Мост через реку Иву. Утро. Шесть белых лошадей. Внезапно лошадь кричит.

Я записываю это, потому что должен записать честно. Отец говорил: самое трудное в ремесле, это не сыграть страх, а заметить, когда тебе по-настоящему страшно, и запомнить,

как это. Потом пригодится.

Мне по-настоящему страшно было трижды в жизни. Когда горел фургон. Когда в девять лет я упал с подмостков в оркестровую яму, в городе, где была оркестровая яма. И на мосту.

Лошадь закричала. Карета дёрнулась, ударилась, дверца распахнулась, и я полетел. Я помню, что держал Бижу. Что видел под собой воду и камни. Что подумал: вот и всё, сто тринадцатый раз, и на этот раз без пятого акта.

А потом меня поймали.

Меня поймали так, как ловят мешок. Я знаю, потому что она мне сама потом сказала. Под колени и под спину, и прижали, и я почувствовал, что меня держат. Не поддерживают, как на сцене, когда партнёрша ловит тебя в обмороке и делает вид, что ты лёгкий, а ты сам держишься, чтобы её не уронить. Меня держали по-настоящему. Как держат вещь, которую решили не уронить.

Я открыл глаза. Надо мной было лицо.

Я видел много лиц. Я двадцать восемь лет смотрю на лица, это моё ремесло, я по лицу знаю, кто в зале зевает, кто плачет, кто считает деньги, а кто пришёл, потому что жена велела. Я умею сделать любое лицо. Удивлённое, влюблённое, гордое, предсмертное. У меня их, наверное, сотня.

А это лицо было одно.

Загорелое, широкоскулое, с носом, который кто-то когда-то сломал и который сросся с горбинкой. Со шрамом

на подбородке. С соломенными волосами, обрезанными коекак, ножом. С серыми глазами, очень светлыми на загорелом. Это было лицо человека, который ничего не играет. Совсем. То, что было у неё внутри, было и снаружи, без зазора. Она держала меня и думала, это было видно, ровно одно: не уронить. И больше ничего.

Ремарка: я впервые в жизни не играл, когда испугался. И впервые в жизни меня поймали.

А потом она сказала: «Полмешка».

* * *

Явление четвёртое. Там же. Толпа. Смех.

Про то, что было дальше, мне стыдно. И не стыдно. Я ещё не решил.

Я лежал у неё на руках, и вокруг смеялись. Я этот смех знаю. Это когда ты в третьем акте в «Ревнивом муже» прячешься в шкаф, а шкаф падает. Смех над тобой, а не с тобой. Публика любит такой смех. Я привык. Я за такой смех получаю деньги.

Но там, на мосту, смеялись не только надо мной. Я видел их лица. Они смеялись над ней. Над девушкой в штанах, которая держит на руках мужчину. Я увидел, как она это услышала. Лицо у неё не поменялось. Ни на волос. Но она чуть-чуть, совсем чуть-чуть, подняла подбородок. Так поднимают подбородок люди, которые привыкли, что над ними смеются, и решили, что это не их дело.

И я сказал «невеста».

Я не знаю, зачем. То есть знаю. Это была импровизация. Это самое опасное в нашем ремесле: когда текст кончился, а занавес не дали, и ты стоишь на сцене, и надо что-то сказать, и ты говоришь первое, что придёт. Иногда выходит чудо. Иногда выходит провал. Чаще всего выходит провал.

Мне пришло: невеста.

Потому что если невеста, то смеяться не над чем. Невеста держит жениха, это не смешно, это трогательно. Это меняет жанр. Из фарса выходит пастораль.

ГРАФ Д'ОБРИ (потом, в карете, по-альвизски, очень тихо). Вы с ума сошли.

ФЛОРАН. Нет, ваше сиятельство. Я сымпровизировал.

ГРАФ Д'ОБРИ. Вы привлекли к себе внимание всего города.

ФЛОРАН. Это и есть моя роль, ваше сиятельство. Привлекать внимание. Вы сами сказали.

Граф помолчал. Потом сказал то, чего я не ожидал.

ГРАФ Д'ОБРИ. Она остановила шесть лошадей. За повод. Одна.

ФЛОРАН. Я видел.

ГРАФ Д'ОБРИ. Я служил двадцать лет в кавалерии, мсье Бюи. Я такого не видел ни разу.

* * *

Явление пятое. Малая комната трактира. Совещание. Граф Холт.

Граф Холт знает.

Я понял это сразу, как он на меня посмотрел. Граф д'Обри предупредил, что напишет ему, и письмо, видно, дошло. Холт смотрел на меня, как смотрит антрепренёр на актёра, которого ему навязали сверху: оценивающе и без восторга. А когда я заговорил, он потёр ухо.

Мне говорили про него в Альвизе. Что у него от лжи звенит в ушах. Я думал, это легенда, такие рассказывают про всех сыщиков. Это не легенда. Каждый раз, когда я говорил что-нибудь как виконт, он тёр ухо. Когда я сказал про древний обычай невесты у порога, он закрыл глаза и сказал, что у него звенит, как на колокольне.

Я стоял перед ним, как стоит актёр перед единственным зрителем, который знает, что пьеса плохая, и всё-таки досматривает.

Он позволил. Он сказал «годится». И я понял, что Холт играет в ту же игру, что и мы: он знает, что я не посол, знает, кто посол, и всё равно поставил ко мне охрану. Потому что приманку тоже надо охранять, иначе её съедят слишком быстро и рыба уйдёт.

Девушку он мне не сказал. Она не знает. Ей сказали: охраняй посла. Она охраняет.

Я думаю об этом третью ночь подряд, хотя прошла только одна. Она спит у моей двери на тюфяке, со скалкой, и охраняет посла. А посол спит через стену, в комнате с геранью, и делает вид, что он учитель танцев. А у её двери, то есть у моей, лежит актёр, которому заплатили сто крон, чтобы в

него стреляли.

Если она узнает, она меня убьёт. Скалкой. Я в этом уверен.

* * *

Явление шестое. Ночь. Свеча. Синий шёлк.

Теперь про платье. Это надо записать, иначе я сам себе не поверю утром.

Платье Марты Пим не налезло бы на неё и наполовину. Я это видел, когда она его развернула. Я вижу такое сразу: я костюмер труппы с двенадцати лет, с тех пор как умерла мать, которая шила на всех. Мне пришлось научиться. Двенадцать человек, сорок пьес, а у нас всегда то короли без мантий, то пастушки без юбок. Я шью быстрее, чем учу роли. Отец говорит, что я лучший костюмер на всём юге и посредственный трагик. Он, как всегда, прав только наполовину.

У меня в сундуке, в том, большом, кованом, куда я не позволил ей заглянуть, лежит половина гардероба труппы. Я взял с собой: месяц виконтом, это тридцать костюмов, а у настоящего виконта есть портной, а у меня его нет. Там же грим, парики, афиши, тупая рапира Гастона. И королевский плащ из «Короля Ипполита», который не сгорел, потому что был на мне.

Подкладка у плаща синяя, шёлковая. Тёмная, как небо в девятом часу.

Я её отпорол.

Я не знаю, как объяснить, почему. Я сидел за дверью и

слушал, как она рассказывает про мельницу. Про колесо, которое скрипит на три голоса. Про брата, который заснул в ларе с отрубями. Голос у неё низкий, неровный, как будто она каждое слово несёт на плече. А потом она замолчала, и я понял, что завтра ей идти к графине де Вер в этом синем мешке, который ей до колен, и графиня будет смотреть на неё так, как смотрела на мосту.

Я не мог этого позволить. Это было бы плохо поставлено.

Я распорол. Вставил клинья. Удлинил подол. Пустил шнуровку. Укололся три раза. В третий раз сильно: отвлёкся, потому что она во сне что-то сказала. Кажется, «отруби». Не знаю, кому.

Утром она спросила, кто перешил. Я сказал: мэтр Обри.

Граф Холт, если бы слышал, оглох бы на оба уха.

И гусь отвернулся. Опять. Мне кажется, это не совпадение. В нашей труппе был старый критик, мсье Лепаж, он ходил на все наши спектакли в своём городе и всегда садился в первый ряд. Когда ему не нравилось, он поворачивался к сцене спиной. Не уходил. Просто сидел спиной. Это было хуже свиста. Гусь похож на мсье Лепажа. Только у мсье Лепажа было два глаза.

* * *

Явление седьмое. Утро. Прихожая. Невеста в синем платье. Виконт в дверях.

Она надела платье.

Я стоял в дверях и смотрел, как она идёт к лестнице. Она

шла в нём, как ходят в штанах, широко, и подол хватал её за ноги, а она дёргала его, как дёргают повод у упрямой лошади. На лестнице она подобрала его руками до колен. Из-под подола торчали сапоги.

Это было ужасно. С точки зрения ремесла это было ужасно: всё не так, шаг не тот, руки не те, плечи не те.

И я стоял в дверях и не мог отвести глаз.

Я не знаю, что это. Отец сказал бы, что это профессиональное. Что я вижу в ней выход. Что если её поставить, если ей показать, как ходить, как поворачиваться, куда девать руки, то, когда она войдёт на Урожайник в этом синем, весь город замолчит. Отец сказал бы: материал. Хороший материал.

Наверное, отец прав.

Наверное.

* * *

Явление восьмое. Вечер. Совещание в комнате с геранью. Граф д'Обри и Флоран. Шёпотом.

ГРАФ Д'ОБРИ. Вы понимаете, что происходит?

ФЛОРАН. Меня хотят убить, ваше сиятельство. Меня пытались убить трижды. Вернее, вас. Вернее, меня вместо вас.

ГРАФ Д'ОБРИ. Это я понимаю. Я спрашиваю, понимаете ли вы, что происходит с девушкой.

ФЛОРАН. Её поставили охранять посла. Она охраняет.

ГРАФ Д'ОБРИ. Её поставили охранять вас. Не зная, кто вы. Она будет ложиться под самострел за человека, которого

не существует. Я видел, как она стоит. Такие ложатся.

Ремарка: я молчу. Мне нечего сказать. Это самая неудобная пауза в моей жизни.

ГРАФ Д'ОБРИ. Ей нельзя говорить. Холт прав. Если она будет знать, она будет смотреть не на вас, а на меня. А если она будет смотреть на меня, это увидит тот, кто смотрит на всех нас. Пусть она охраняет вас. Это её работа. А вы… — он смотрит на меня долго — а вы не смейте, мсье Бюи.

ФЛОРАН. Не сметь чего?

ГРАФ Д'ОБРИ. Вы знаете чего. Вы первый любовник. Вы умеете это лучше всех на юге. Не смейте играть с ней в это. Она не умеет играть. Ей будет больно по-настоящему.

ФЛОРАН. Я не собираюсь…

ГРАФ Д'ОБРИ. Вы перешили ей платье.

Пауза.

ФЛОРАН. Как вы узнали?

ГРАФ Д'ОБРИ. Мсье Бюи. Я посол. Я замечаю, когда у человека на указательном пальце три дырки. И когда учитель танцев, оказывается, ночью вышивает. Вы сказали ей, что это я.

ФЛОРАН. Сказал.

ГРАФ Д'ОБРИ. Холт оглох бы.

ФЛОРАН. Гусь отвернулся.

Граф впервые за всю дорогу засмеялся. Сухо, коротко, как будто кашлянул. Потом перестал.

ГРАФ Д'ОБРИ. Что до графини. Будьте с ней осторожны.

Её навязали посольству из канцелярии герцога. Дом де Вер держит солеварни на побережье. Самые большие. Если договор подпишут, они потеряют больше всех.

ФЛОРАН. Вы думаете, это она?

ГРАФ Д'ОБРИ. Я думаю, что она не знает, кто из нас посол. И что так и должно остаться. Доброй ночи, мсье Бюи. Спите. Если сможете.

* * *

Явление девятое. Ночь. Комната с окном на восток. Виконт один. Свеча догорает.

Я не могу спать.

За дверью она спит. Я слышу. Она спит, как спят люди, которые весь день носили тяжёлое: сразу, глубоко, без снов. Иногда что-то бормочет. Скалка, я думаю, у неё под рукой.

Её куртка висит у меня на стуле. Порвалась на локте, на мосту, когда она меня ловила. Она бросила её здесь днём и забыла. Я смотрю на эту дыру.

Это, наверное, тоже профессиональное. Костюмер не может видеть дыру и не зашить.

Я возьму иголку. Серого сукна у меня нет. Но у меня есть серый камзол виконта, третий, для дороги, который я всё равно не надену, потому что виконту не идёт серое. Если отрезать от полы, никто не заметит.

Я зашью ей куртку. Она не узнает. Я положу утром рядом с тюфяком, и она подумает, что это мэтр Обри.

Ремарка: в «Принце-изгнаннике», в четвёртом акте,

принц зашивает дочери трактирщика порванный плащ. Это моя любимая сцена. Я всегда играл её так, как будто он делает это из благородства. Теперь я думаю, что играл неправильно.

Двадцать пять дней. Потом подпишут договор, граф уедет, я уеду, труппа получит двести крон, отец перестанет кашлять, Колетт перестанет плакать. А она останется здесь, у своей мельницы, со своим мечом, который ей отдадут обратно.

И правильно. Так и должно быть. Это хороший финал. Отец бы одобрил.

Почему же мне так не нравится этот финал?

Свеча гаснет. Виконт сидит в темноте. За дверью дышит Невеста. Внизу во дворе фыркает лошадь, и виконт вздрагивает. В темноте он ничего не видит. Он не любит темноту. Но он не зажигает новую свечу: она проснётся.

Суфлёр молчит.

Глава 5. В которой Бруна объявляет смотрины

На третий день, в седьмом часу утра, на вывеску «Хромого гуся» сел попугай.

Это Кеша. Он живёт за рекой, в школе у графини Агаты, при мандрагоре Моте. Мотя старая, говорит редко и по слогам, а Кеша говорит за неё, и говорит много. В прошлом году он каждое утро прилетал на эту вывеску и спрашивал у Руты, поцеловал ли её герцог. Город ждал этого вопроса, как ждут петуха. Когда герцог наконец поцеловал, Кеша облетел площадь три раза и чуть не умер от счастья.

Теперь он сел на вывеску рядом с нарисованным гусём, вытянул лысую шею и заорал во двор:

— Понёс?

Йорген-младший высунулся из окна кухни. Он уже всё понял, он у нас всегда понимает Кешу первым.

— Нет ещё! — крикнул он. — До Урожайника двадцать четыре дня!

Кеша подумал. Почесал лапой затылок.

— Бол-ва-ны, — сказал он и улетел.

Я сидела на крыльце в синем платье и в сапогах и чистила картошку. Это мне Рута дала, чтобы руки были заняты, потому что без меча у меня руки не знали, куда себя деть. Посол сидел рядом, на ступеньке, в лиловом камзоле и в кру-

жевах, и держал Бижу. Он смотрел, как я чищу.

— Что он спросил? — спросил посол.

— Понёс ли ты меня через брод.

— Каждое утро будет спрашивать?

— Каждое утро, — сказала я. — Пока не понесёшь.

Посол помолчал.

— А если не понесу?

— Тогда до следующего Урожайника.

— А до следующего Урожайника он тоже будет спрашивать?

— Он попугай, — сказала я. — Ему сорок лет. Ему некуда торопиться.

* * *

Смотрины Бруна объявила в полдень, на площади, у колодца.

Это надо было видеть. Она надела воскресный чепец, огромный, белый, как парус, и встала на ступеньку колодезного сруба, чтобы её было видно. В руках у неё была книга. Рядом стоял капитан Гуннар, её муж, огромный и смущённый, и держал её под локоть, потому что ступенька скользкая. А вокруг стоял весь Тихий Брод.

Я не преувеличиваю. Пришли все. Пим в цепи бургомистра. Марта Пим с тетрадью. Торвальд из кузни в кожаном фартуке. Вдова Мартенс в чёрном. Мэтр Гроссе с палкой. Жрица Олеа, которую привели под руки, потому что она совсем слепая и глухая, но смотрины пропустить не могла.

Мальчишки на заборе. Лотта с Петером, с мельницы: Лотта слепая, а Петер ей рассказывает, что видит, шёпотом, на ухо, и она смеётся. Графиня Агата с детьми. Нелли с двойней на руках. И, конечно, «Гусь» в полном составе: тётя Клара, старый Йорген, младший, Мина, Рута с животом, а рядом с Рутой герцог Штальберг, длинный, застёгнутый, с гусём у башмака.

И был воскресный день. А по воскресеньям у нас в «Гусе» обедает барон Зиберт.

Барон Зиберт откупщик из Каменца. Он толстый, красный, громкий и ест за троих, а в прошлом году ставил сто крон на то, что герцог отодвинет миску, и проиграл, и с тех пор ездит к нам каждое воскресенье есть Рутин суп. С ним ездит его повар, мсье Пьер, у которого усы, как пружины. Весь город знает, что мсье Пьер на самом деле Петруха из Малых Ключей, и барон тоже знает, но они делают вид.

Барон стоял в первом ряду, с салфеткой за воротом, потому что его выдернули из-за стола, и сиял.

— Невеста! — сказал он, увидев меня. — Где невеста? А, вот! Мать честная, это ж та, что возчикам лавкой! Жених-то её видел?

— Видел, ваша милость, — сказал посол. Он поклонился барону изящно, с собачкой, как кланяются при дворе. — Я имел счастье видеть её с самой выгодной стороны. Снизу.

Барон захохотал так, что с ратушной крыши слетели голуби.

* * *

Бруна откашлялась. Площадь замолчала. У нас, когда Бруна откашливается, замолкает всё: и люди, и куры, и, по-моему, даже Ива перестаёт течь.

— Люди добрые! — сказала Бруна. — Пятого дня тому… то есть третьего дня, на мосту, при сорока свидетелях… Олеа, ты свидетель?

— Свадьба, — сказала Олеа, проснувшись. — Я и говорю.

— …при сорока свидетелях его светлость виконт де Семелен…

— Сен-Мелен, — сказал посол.

— Я и говорю, Семелен, назвал невестой нашу Тильду Жернову, с выселок. До Урожайника. По обычаю, когда парень до Урожайника при людях назовёт девку невестой, город устраивает смотрины. Так в книге. Я книгу читала. Последний раз смотрины у нас были при моей свекрови, вот и запись. — Она раскрыла книгу и показала площади страницу, жёлтую, с кляксами. — «Гертруда, дочь бондаря, названа невестой Карлом-кожевником на ярмарке. Каравай испекла, рушник вышила, сноп сжала, «Колосок» сплясала. Перенёс через брод. Свадьба». Шестьдесят лет назад.

— А не перенёс бы? — крикнул кто-то из задних рядов.

— А тут у нас есть и такое, — сказала Бруна с удовольствием и перелистнула. — Вот. «Гретхен, дочь пасечника, и Отто-возчик. Всё сделала, а он на середине брода оступился и уронил. Свадьба отложена до следующего Урожайника». А

дальше приписано: «На следующий год донёс. Только Гретхен к тому времени похудела».

Площадь грохнула. Я стояла и чувствовала, как у меня горят уши. Все смотрели на меня. Все прикидывали, сколько я вешу. Я видела это по глазам.

Бруна подняла руку.

— Правила, — сказала она. — Слушайте все, а вы, ваша светлость, особенно, вы человек приезжий. Невеста до Урожайника показывает городу, что она хозяйка. Первое! Печёт каравай. В моей печи. Сама. Из моей муки.

Посол кивнул, серьёзно, как будто ему зачитывали статьи договора.

— Второе! Вышивает жениху рушник. Сама. Своими руками. Рушник потом на свадьбе под ноги стелют, а если не вышьет, жениху не на чем стоять.

— Это разумно, — сказал посол.

— Третье! Жнёт сноп. На ратушном поле, со всеми жнецами, наравне. Чтобы видно было, что не белоручка.

Тут кто-то хмыкнул. Все знали, что я жну быстрее любого мужика на выселках. Даже Бажен признаёт.

— Четвёртое! Пляшет с женихом «Колосок». На Урожайник, на площади, при всех. Первыми.

Я закрыла глаза. «Колосок» я видела. Это когда пары кружатся, хлопают, меняются, а потом парень подхватывает девушку и поднимает. Я его ни разу не плясала. Меня никто не звал.

— А жених, — сказала Бруна, и голос у неё стал торжественный, как в храме, — жених на Урожайник несёт невесту через брод. У старой ивы. Туда, на тот берег, на руках. Донёс, свадьба. Уронил в воду, жди до следующего Урожайника.

Площадь повернулась и посмотрела на посла.

Посол стоял, держа собачку, стройный, в лиловом, в кружевах, тонкий, как тростинка, и улыбался. А рядом с ним стояла я. В синем платье Марты Пим, с клиньями из шёлка неизвестно откуда, в сапогах, и на полголовы выше половины мужчин на площади.

Площадь молчала. Так молчат, когда на ярмарке силач объявляет, что поднимет телегу, а сам худенький.

— Тетрадь! — сказала Марта Пим и подняла тетрадь над головой. — Ставки принимаются! Понесёт или уронит! Грош, марка, крона! Олдрик, держи чернильницу!

* * *

Что началось, я вам описывать не буду. Скажу только цифры, потому что Марта Пим потом мне показала тетрадь.

Торвальд поставил марку на «уронит». Он сказал, что жердь жердью, а Тильду и он сам не понесёт, он пробовал, когда она была маленькая, и надорвался.

Вдова Мартенс поставила два гроша на «понесёт», потому что ей его жалко.

Мэтр Гроссе поставил на «уронит» и сказал, что если понесёт, то надорвётся, а если надорвётся, то лечить придётся

ему, а он дорого берёт.

Барон Зиберт поставил пятьдесят крон на «уронит». Он сказал, что в прошлом году проиграл сто на казначее и теперь хочет отыграться на после. Что он, барон, послов видал, у них руки слабее, чем у казначеев.

Мсье Пьер, то есть Петруха, тайком от барона поставил полкроны на «понесёт».

Нелли поставила грош на «понесёт», а потом подумала и ещё грош на «уронит, но поднимет». Марта Пим сказала, что такой графы нет. Нелли сказала, что заведите.

А герцог Штальберг не поставил ничего. Он подошёл к послу, посмотрел на него, на меня, потом опять на него, и сказал, как читают ведомость:

— Глубина брода у старой ивы по середине около трёх футов. Течение в конце августа слабое. Дно галечное, скользкое. Нагрузка, по оценке, сто девяносто фунтов. Ваш собственный вес, ваша светлость, сто сорок два, сто сорок пять. Вы понесёте груз, превышающий ваш вес на треть, по скользкому дну, в воде по пояс, около сорока шагов. — Он подумал. — Это возможно. Носильщики в Сольмаре носят больше. Но они тренируются годами.

— У меня двадцать четыре дня, — сказал посол.

— Да, — сказал герцог. — Я бы начал сегодня.

И отошёл. Рута, рядом, ткнула его локтем в бок, и он сказал «что?», и она сказала «ничего, умный ты мой», и он покраснел ушами. У них так всегда.

* * *

А потом площадь затихла снова. Не по Бруниной команде. Сама.

С дороги, от мельницы, через площадь шли мои братья.

Все семь. Друг за другом, от старшего к младшему, как всегда ходят. Впереди Богдан, ему тридцать шесть, у него борода лопатой и руки, как у отца. За ним Борис. За Борисом Бронек, за Бронеком Болек, за Болеком Бажен, тот, что спал в ларе с отрубями. За Баженом Богумил. Последним Бенек, ему двадцать четыре, он самый младший из братьев и самый красивый, и все девки на выселках по нему вздыхают, а он вздыхает по рыбалке.

Отец назвал нас всех на «Б», потому что сам Матей, а мать Зофья, и они решили, что дети пусть будут на свою букву. Только меня мать назвала Тильдой, потому что ждала семь раз, и ей было уже всё равно, на какую букву.

Они шли через площадь молча. Народ расступался. Куры уходили с дороги сами. Мальчишки слезли с забора.

Они дошли до колодца и встали полукругом. Вокруг посла.

Семь Жерновых. Каждый на голову выше посла. Каждый в плечах, как дверь. Каждый в рабочей рубахе, в муке, потому что они пришли прямо с мельницы, бросив мешки. И каждый смотрел на посла так, как смотрят на мешок, про который сказали, что в нём зерно, а на ощупь там явно опилки.

Посол стоял в середине полукруга. С собачкой. Я видела,

как у него дрогнула рука, державшая собачку. Только рука. Лицо было спокойное, вежливое, светское.

Богдан наклонился. Посмотрел на посла сверху. Долго.

— Ты кто? — сказал Богдан.

Посол поднял на него глаза. И ответил. Не сразу. Сначала вздохнул. А потом заговорил, громко, красиво, нараспев, тем самым голосом, от которого у меня на мосту зачесалось в носу:

— Я тот, кто пал с небес к ногам твоей сестры,
И был ей поднят, как упавший колос.
Не с дерзостью пришёл я, не с мечом,
А с сердцем, что дрожит, как лист на ветке,
Пред семерыми, каждый из которых
Мне может голову снести одной рукой.

Богдан выпрямился. Посмотрел на Бориса. Борис посмотрел на Бронека. Бронек на Болека, и так до Бенека. Бенек почесал затылок.

— Это он чего? — спросил Бажен.

— Стихами, — сказал Бенек. — Это он стихами.

— Зачем?

— Говорит, что боится.

Братья помолчали. Потом Богдан, не меняя лица, сказал:

— Правильно боишься.

— Благодарю, — сказал посол. — Я стараюсь бояться правильно.

* * *

— Подними её, — сказал Богдан.

Площадь затаила дыхание.

— Простите?

— Тильду. Подними. Через брод нести будешь? Будешь. Вот и покажи. Сейчас. А мы посмотрим.

— Богдан, — сказала я. — Не надо.

— Молчи, — сказал Богдан. Он у нас старший, он со мной всегда так. — Ты невеста. Невесте молчать положено, пока братья жениха смотрят.

Я хотела сказать ему, что в книге такого нет. Но Бруна стояла на колодце и смотрела, и по её лицу было видно: если в книге нет, она сейчас впишет.

Посол передал Бижу Руте. Рута взяла. Посол снял лиловый камзол и отдал младшему. Остался в рубашке. С кружевами. Подошёл ко мне.

— Мадемуазель, — сказал он тихо, только мне. — Простите меня. Я не умею. Но если я не попробую, они меня съедят.

— Под колени и под спину, — сказала я так же тихо. — Присядь. Не спиной тяни, ногами. Как мешок.

— Я никогда не поднимал мешок.

— Знаю. Присядь.

Он присел. Обхватил меня. Под колени и под спину, как я сказала. Руки у него были тонкие, но не слабые, я почувствовала. Жилистые. Он вдохнул.

И поднял.

Я не поверила. Я была в воздухе. На вершок над землёй. На два. Он держал меня, и лицо у него было красное, жилы на шее вздулись, и он стоял, и я была у него на руках, как он у меня на мосту.

Одно мгновение.

Потом у него поехала нога. По мокрому камню у колодца, где всегда мокро от вёдер. Он качнулся. Я почувствовала, что мы падаем, и уже приготовилась, как готовишься, когда с плеча соскальзывает мешок: сгруппироваться, упасть набок, не на голову.

А он сделал то, чего я не ждала.

Он не уронил меня. Он упал сам, первым, спиной, на камни, и как-то так извернулся в воздухе, что я упала не на землю, а на него. Он перекатился, мягко, как кошка, как будто всю жизнь только и делал, что падал, и мы остановились. Он внизу, на мостовой, я сверху, в синем платье. Мои колени по обе стороны от него. Его руки всё ещё у меня на спине.

Он смотрел на меня снизу. Волосы у него разметались по камням. Он был красный, задыхался и улыбался.

— Простите, — сказал он. — Это было не по плану.

На площади было тихо. Совсем.

А потом Бенек, младший, сказал:

— Падает хорошо.

И Богдан сказал:

— Падает хорошо.

И кто-то засмеялся, и кто-то захлопал, и через мгновение

вся площадь хлопала и кричала, а Торвальд кричал «ай да жердь!», хотя кричал он это в прошлом году герцогу, и Бруна плакала на колодце, а Кеша, который откуда-то вернулся, сидел на ратушной крыше и орал «Уронил! Уронил!», хотя никто ничего не уронил.

Я слезла с посла. Встала. Подала ему руку. Он взял её и поднялся. Сам бы он поднялся легко, я видела, но взял.

— Не уронил, — сказала я братьям.

— Не уронил, — согласился Богдан. — Но и не донёс.

— Он под меня лёг.

— Видели, — сказал Богдан. Он посмотрел на посла ещё раз, сверху вниз. Подумал. — Ладно. Двадцать четыре дня. Не донесёшь через брод, будешь с нами через брод мешки таскать. До следующего Урожайника. Каждый день.

— Справедливо, — сказал посол.

— А обидишь её… — Богдан наклонился к нему совсем близко.

— В жёрнов, — сказали хором шесть остальных братьев.

— Понял, — сказал посол.

Братья развернулись и пошли обратно, друг за другом, от старшего к младшему. Бенек, последний, на ходу обернулся и подмигнул мне. Он один из всех братьев подмигивает.

* * *

Посол стоял посреди площади в мятой рубашке, с кружевами в пыли, и отряхивался. Рута отдала ему собачку. Собачка облизала ему лицо. Младший подал камзол.

— Ты не ушибся? — спросила я.

— Нет, — сказал он. — Я умею падать.

— Где ты так научился?

Он посмотрел на меня. И я опять увидела это: как лицо у него в одно мгновение стало другим. Весёлым, светским.

— Фехтование, мадемуазель, — сказал он. — У нас в Альвизе всех юношей знатных фамилий учат фехтовать. А учитель фехтования первым делом учит падать. Чтобы не сломать шею, когда тебя всё-таки проткнут.

Это было похоже на правду. Я поверила. Почти.

Я посмотрела на герцога Штальберга. Он стоял рядом с Рутой. У его башмака сидел гусь.

Гусь сидел к послу хвостом.

* * *

Народ расходился медленно, как расходятся с ярмарки, оглядываясь. Мы пошли к «Гусю»: посол впереди, я на шаг сзади и сбоку, как меня учила Ингрид. Смотрела по сторонам. На окна. На крыши. На людей.

У «Гуся», возле крыльца, у коновязи, стоял человек. Я его раньше не видела. Невысокий, жилистый, в широкой соломенной шляпе, какие носят лодочники на Иве, и с повязкой на левом глазу. Он стоял и смотрел на посла. Не так, как смотрела площадь: с любопытством. А так, как смотрят на товар. Прикидывая.

Я посмотрела на него. Он увидел, что я смотрю. Отвернулся, сплюнул и пошёл к реке, не торопясь.

Я запомнила шляпу и повязку. Ингрид учила: всё, что не так, запоминай.

А потом всё случилось сразу.

Над крыльцом «Гуся», на навесе, у окна прихожей, стоял горшок с геранью. Я его видела ещё вчера: графиня выпросила его у учителя танцев и выставила туда, сказала, что в её окне, во двор, герани не хватает солнца. Горшок был глиняный, большой, тяжёлый, с землёй, на самом краю.

Посол ступил на крыльцо.

Я услышала, как горшок шевельнулся. Я не знаю, как. Я просто услышала: скрип глины по дереву, когда тяжёлое начинает ехать.

Я схватила посла за шиворот. Сзади, за воротник камзола, как хватают мешок, который сейчас упадёт с телеги. И дёрнула на себя со всей силы. Он отлетел назад, на меня, я на ногах не удержалась, и мы вдвоём полетели с крыльца вбок, на телегу. На телеге стояли корзины. В корзинах была капуста. Её привезли Руте на засолку.

Горшок упал на крыльцо ровно туда, где только что стоял посол. С таким грохотом, что внизу, в зале, кто-то уронил кружку. Глина разлетелась, земля брызнула, герань легла на ступеньку, красными цветами вниз.

Я лежала в капусте. Посол лежал на мне. Сверху на нас сыпались кочаны.

Площадь, которая не успела разойтись, повернулась.

— Мать-Земля, — сказала вдова Мартенс. — Опять.

— Не двигайся, — сказала я послу. Я смотрела вверх, на навес. Если там кто-то был, я должна была увидеть. Окно прихожей было открыто, занавеска шевелилась. Больше ничего.

А на краю навеса, рядом с тем местом, где стоял горшок, сидел Кеша.

Он сидел, вытянув шею, и смотрел вниз, на разбитый горшок, на герань, на нас в капусте. С видом глубокого удовлетворения. Он, видно, прилетел с ратушной крыши, сел на край горшка, как садится на край Мотиного, и горшок не выдержал.

— Кеша, — сказала я. — Это ты?

Кеша посмотрел на меня одним глазом. Потом другим.

— Уронил! — сказал он с восторгом.

И улетел.

Я лежала в капусте. Посол лежал на мне, лицом мне в плечо, и плечи у него тряслись. Я подумала, что он плачет. Испугался. Я положила руку ему на спину, неловко, как кладут на спину лошади, которую надо успокоить.

Он не плакал. Он смеялся. Беззвучно, до слёз, уткнувшись мне в плечо.

— Третий раз, — сказал он, когда смог говорить. — За три дня. Мадемуазель, вы третий раз оказываетесь подо мной. Или я под вами. Я сбился со счёта. Что подумает Бруна?

— Бруна впишет, — сказала я.

Он поднял голову. На волосах у него был капустный лист.

Он смотрел на меня сверху, близко, так близко, что я видела, какие у него длинные ресницы и что у левого глаза маленькая родинка, а глаза у него вовсе не чёрные, а тёмно-карие, с золотом, как гречишный мёд.

— Мадемуазель, — сказал он, перестав смеяться. — Вы схватили меня раньше, чем горшок упал. Вы не видели попугая. Вы услышали.

— Услышала.

— Вы схватили меня на звук. За шиворот.

— Ну. Как мешок с телеги.

Он смотрел на меня ещё одно мгновение. Что-то у него было в лице, чего я раньше не видела. Не весёлое и не светское. Другое.

— Благодарю вас, — сказал он тихо.

И скатился с меня в капусту.

На крыльце уже стоял капитан Гро и смотрел на разбитый горшок. Потом на навес. Потом на окно прихожей. Потом на меня. А из окна прихожей, сверху, выглянула графиня де Вер, в утреннем шёлке, с веером, и посмотрела вниз.

— Ах, моя герань, — сказала она печально. — Этот ужасный попугай.

И закрыла окно.

Я вылезла из капусты. Поправила платье. Платье было цело, только на подоле пятно. Посол вылез следом, весь в капусте, с собачкой, которая всё это время сидела у Руты на руках и лаяла.

Рута смотрела на нас с крыльца, держась за живот. Она смеялась так, что у неё по щекам текло.

— Ну, — сказала она. — Пересолить вас, что ли. Обоих.

А Марта Пим, которая всё видела, открыла тетрадь и что-то записала. Я потом посмотрела. Там была новая графа. «Сколько раз ещё упадут вместе до Урожайника». Нелли поставила на восемь.

Глава 6. В которой я пеку каравай

Каравай Бруна назначила на шестой день, на рассвете.

Правила она прочла по книге, при свидетелях, у себя в пекарне. Невеста печёт сама. Мука Брунина, вода из колодца, соль и закваска тоже Брунины. Печь Брунина. Помогать нельзя никому: ни матери, ни подругам, ни жениху. Если каравай треснет, можно испечь второй. Если и второй треснет, Бруна запишет «треснул», и город будет вспоминать это лет двадцать.

— А если не поднимется? — спросила я.

Бруна посмотрела на меня, как смотрят на человека, который спросил, а что будет, если не взойдёт солнце.

— Поднимется, — сказала она. — Ты на мельнице выросла. Ты муку с детства на плечах носишь.

— Я её ношу, Бруна. Я её не пеку.

— Научишься.

У меня было три дня. Я вам честно скажу, как я их провела. Первый день я ходила за послом. В ратушу, где он с Пимом и герцогом смотрел, какой ширины будет площадь для подписания и куда поставят стол. В школу к графине Агате, где он полдня стоял в оранжерее и смотрел на травы и ни на одну не чихнул, в отличие от графа Холта. На мельницу, к Петеру, где мои братья таскали мешки и, увидев нас, перестали таскать и стали смотреть. Второй день то же самое, и

ещё графиня с реверансом, и учитель танцев с поклоном. А вечером третьего, накануне каравая, я поняла, что ни разу в жизни не замешивала тесто.

Мать пекла. Я носила дрова.

* * *

Ночью я пошла на кухню.

Рута разрешила. Она сказала: «Иди, бери что хочешь, только печь не трогай, она у меня с характером, лучше в малой, в старой». Она сама помогать не могла: Бруна сказала «никому», а Рута с Бруной не спорит, даже теперь, когда она герцогиня. Она только показала мне, где мука, где закваска, и сказала: «Тесто, это не мешок. Его не бросают. Его уговаривают».

Посол спал. Я слушала у его двери, он дышал ровно. Учитель танцев спал, графиня спала. Во дворе ходил по двору сабельщик, второй сидел у ворот. Я спустилась в кухню, зажгла лампу и встала у стола.

Мука. Вода. Соль. Закваска в горшке, живая, кислая, пахнет так, будто кто-то весь день ходил в одних онучах. Я высыпала муку горкой. Сделала ямку, как делала мать. Влила закваску, воду. Стала мешать.

Вы когда-нибудь видели, что бывает, когда тесто мешает человек, который привык грузить мешки?

Тесто прилипло к рукам. Всё. Сразу. Я стряхнула. Оно не стряхнулось. Я подсыпала муки. Оно прилипло к муке. Я подсыпала ещё. Оно стало твёрдым, как глина у брода, и

перестало прилипать, и я обрадовалась. Я его месила. Я в него вкладывала всё, что у меня было. Я его мяла, как мнут на ярмарке противника, который сказал, что баба с мечом смешная. Я его била кулаком. Я его бросала об стол.

Через полчаса у меня на столе лежал ком. Серый, твёрдый, тяжёлый. Я положила его в миску, накрыла полотенцем и поставила к печи. Так делала мать. Потом она ждала.

Я ждала. Час. Ком лежал. Он не поднимался. Он был, как камень с брода, и такой же холодный внутри.

Я сидела на табурете и смотрела на него.

— Можно? — сказали сзади.

Я обернулась так быстро, что опрокинула табурет. Рука сама дёрнулась туда, где на поясе должен был быть меч. Меча не было. Я схватила скалку.

В дверях стоял посол. В халате, лохматый, босой, без собачки. Он поднял обе руки.

— Это я, — сказал он. — Не бейте. Я проснулся, а вас нет. Я испугался.

— Ты должен спать. Дверь закрыта. За дверью сабельщик.

— За дверью сабельщик спит, — сказал посол. — Сидя. На стуле. Я его обошёл. Он храпит.

Я положила скалку. Мне стало стыдно. Я ушла с поста. Ради каравая. Ингрид бы меня закопала.

— Иди наверх.

— Сейчас пойду. — Он не пошёл. Он подошёл к столу и заглянул в миску. Поднял полотенце. Посмотрел на ком.

Потом на меня. — Это каравай?

— Это будет каравай.

— Мадемуазель, — сказал он мягко. — Это никогда не будет караваем. Это будет камень. Им можно бить крепостные стены, если зарядить в катапульту.

Я хотела ответить, что он виконт и понимает в караваях, как я в вилках. Но он уже взял ком в руки. Взвесил. Понюхал. Покачал головой.

— Вы его убили, — сказал он. — Тесто живое. Его нельзя бить. Вы его били?

— Мяла.

— Вы его били. Я слышал сверху. Удары. Как будто в кухне кого-то казнят.

Он бросил ком в помойное ведро. Не спрашивая. Потом засучил рукава халата. Вымыл руки в тазу. И высыпал на стол новую горку муки.

— Тебе нельзя, — сказала я. — Бруна сказала, жениху помогать нельзя.

— Я не помогаю, — сказал он. — Я показываю. Печь вы будете сами. Завтра. В её печи, при ней. А сейчас вы просто посмотрите, как это делается. Смотреть Бруна не запрещала.

— Откуда ты знаешь, как это делается? Ты виконт.

Он сделал ямку в муке. Тонкими пальцами, быстро, аккуратно. Влил закваску.

— У нас в Альвизе, — сказал он, не поднимая глаз, — юношей знатных фамилий учат печь хлеб. Чтобы они пони-

мали народ.

Я посмотрела на него. Я ничего не сказала. Я не граф Холт, у меня в ушах не звенит. Но я подумала про гуся. Гуся на кухне не было. Жаль.

* * *

Он месил.

Я такого никогда не видела. Мать месила быстро и сердито, будто тесто ей что-то должно. Бруна месит, как воюет. А он месил, как гладят кошку. Ладонью от себя, мягко, потом подвернуть край, повернуть, и снова ладонью. Мука под его руками собиралась, слипалась, становилась гладкой, и через несколько минут на столе лежал шар, белый, мягкий, и когда он ткнул в него пальцем, ямка медленно, будто нехотя, затянулась.

— Видите? — сказал он. — Оно дышит. Теперь вы.

— Я?

— Вы. Я не буду печь. Я покажу ещё раз, а вы сделаете. Руки сюда. — Он взял мои руки за запястья и положил на тесто. Его руки были в муке, и мои тоже. — Не дави. Не дави, говорю. Ты давишь, как будто поднимаешь мешок. А ты его гладь. От себя. Вот так.

Я не заметила, как он перешёл на «ты». Я тоже не заметила, что я с первого дня ему «ты». Я заметила только, что его руки лежат на моих и ведут их, и что у меня горят уши.

Ладонью от себя. Подвернуть. Повернуть. Ладонью от себя.

— Не так сильно, — сказал он. — Тесто любит, когда с ним ласково. Как лошадь.

— Лошадь любит, когда её не боятся.

— Это тоже. Тесто чувствует, когда ты его боишься. Ты его боишься?

— Я ничего не боюсь.

— Тогда почему ты его била?

Я не ответила. Я гладила тесто. От себя. Он отпустил мои руки и смотрел. Тесто под моими ладонями становилось мягким. Не так быстро, как у него. Но становилось.

— Вот, — сказал он тихо. — Видишь. Ты умеешь. Ты просто думала, что надо быть сильной. А надо быть тёплой.

Я подняла глаза. Он стоял рядом, у стола, в халате, с мукой на щеке и в волосах, и смотрел на меня. И лицо у него было не весёлое и не светское. Не то, которым он улыбается на площади. Другое. Я его видела однажды, в капусте.

— Ты щёку испачкал, — сказала я.

— Где?

Я показала. Он вытер. Не там.

Я протянула руку, свою, в муке, и вытерла сама. Большим пальцем. Он замер. Я тоже. У меня на пальце было тепло от его щеки.

Мы стояли так, наверное, мгновение. А может, дольше.

— Тесто, — сказал он хрипло. — Его надо накрыть. Иначе обветрится.

Я накрыла. Полотенцем. Руки у меня, по-моему, дрожали.

Я никогда не дрожу. Я поднимаю мешок и не дрожу. А тут полотенце.

— Пойдём наверх, — сказала я. — Ты должен спать. Я на службе.

* * *

Мы поднялись. Сабельщик на стуле у лестницы храпел, свесив голову. Посол прошёл мимо него на цыпочках, я за ним. В прихожей он остановился у своей двери.

— Тильда, — сказал он. Он впервые назвал меня по имени. — Спасибо, что не ударила скалкой.

— Ещё не вечер, — сказала я.

Он засмеялся тихо. И ушёл к себе. Я слышала, как он задвинул задвижку, как я велела. Как лёг. Я легла на тюфяк. Скалка под рукой. Руки у меня пахли тестом и немножко им: лимонной коркой и чем-то тёплым.

Я лежала и думала, что так не бывает. Что виконтов не учат печь хлеб. Что он месил, как месят люди, которые месили тысячу раз, для многих, в больших мисках, быстро, потому что все голодные. Как моя мать на выселках.

Я думала об этом и почти заснула. Почти.

Потом я услышала навес.

Навес над крыльцом под окном посла. Я его обошла в первый день, я его помнила: доски, дранка, водосток. Когда по нему идёт кошка, он молчит. Когда по нему прошёл дождь, он стучит. А тут он скрипнул. Один раз. Как скрипит доска под ногой человека, который старается не скрипеть.

Я не думала. Ингрид говорит, это у меня беда: я сначала делаю, потом думаю. А тут, по-моему, было правильно.

Я вскочила, ударила плечом в дверь посла. Задвижка была новая, крепкая, Пимова, но дверь была старая, Йоргенова, и петли у неё были на честном слове. Дверь распахнулась. Я влетела в комнату.

Окно светлело, серое, предрассветное. В окне, за стеклом, на навесе, стоял человек. Чёрный, без лица, на одном колене. И держал у плеча что-то короткое, с поперечиной.

Посол лежал в кровати. Он приподнялся на локте, когда я ворвалась. Сонный, с открытым ртом.

Я прыгнула. Через половину комнаты, прямо на кровать, на него. Обхватила и рванула вместе с одеялом на пол, на другую сторону, к стене. Мы упали. Я сверху. Одеяло, подушка, Бижу, которая спала у него в ногах и теперь визжала.

Стекло лопнуло.

Что-то ударило в спинку кровати, туда, где только что была его голова. С сухим стуком, как топор входит в полено.

Я лежала на нём. Он лежал подо мной, лицом мне в шею. Я прикрывала его голову руками. Я слышала, как бьётся у него сердце. И у меня. Так громко, что я не сразу разобрала, что там, снаружи.

Снаружи скрипнул навес. Потом стукнуло, глухо: кто-то спрыгнул на землю. Потом шаги. Быстрые. Прочь.

— Лежи, — сказала я ему в ухо. — Не шевелись. Лежи, понял?

— Понял, — сказал он мне в шею. Голос у него был чужой.

Я вскочила. Подбежала к окну. Стекло было пробито, с дырой посередине, звёздочкой. Я рванула раму. Навес был пустой. Внизу, на площади, серой, пустой, предрассветной, никого. Колодец. Весы, которые Бруна забыла убрать с прошлого года. Тень от ратуши. И всё.

Я перегнулась через подоконник и закричала. Не словами. Как кричат у нас на мельнице, когда рвётся ремень на колесе: «Э-э-эй!» Так, чтобы слышно было на заставе.

Во дворе проснулся сабельщик. Потом второй. Потом залаяли собаки по всей улице. Потом хлопнула дверь у учителя танцев. Потом у графини.

Я обернулась.

Посол сидел на полу, у стены, в одеяле, держал Бижу и смотрел на кровать.

В резной спинке кровати, Йоргеновой, дубовой, на высоте подушки, торчал болт. Короткий, толстый, с железным наконечником и с перьями, чёрными, гусиными. Он вошёл в дуб на полпальца. Если бы там была голова…

Посол смотрел на болт. Лицо у него было белое. Губы белые. Собачка дрожала у него на руках.

— Ты цел? — спросила я.

Он не ответил. Он смотрел на болт.

Я села рядом на пол. Взяла его за плечо. Плечо было холодное и тряслось.

— Посмотри на меня, — сказала я. — На меня, понял?

Не на кровать.

Он посмотрел. Глаза у него были огромные, тёмные, без золота.

— Тильда, — сказал он. — Ты меня с кровати сдёрнула.

— Ну.

— Ты услышала через дверь. Скрип. Один.

— Навес скрипит, когда на него встают. Я его в первый день обошла.

— Ты не думала. Ты прыгнула.

— Ингрид говорит, это у меня беда.

Он смотрел на меня. Потом сделал то, чего я не ждала. Он уткнулся лбом мне в плечо. Просто лбом. И сидел так, дрожа, в одеяле, с собачкой между нами.

Я не знала, что делать. Я положила руку ему на затылок. На волосы. Они были мягкие и пахли тестом.

— Всё, — сказала я. — Всё. Ушёл. Сейчас граф придёт.

* * *

Граф пришёл через четверть часа. С Ингрид и Тимом. И с Нелли, которую подняли с постели, и она была в платке поверх ночной рубашки и злая, как оса.

Граф посмотрел на болт. На стекло. На навес. На меня, на посла, на дверь с вырванной задвижкой.

— Жернова, — сказал он. — Докладывайте.

Я доложила. Про навес, про скрип, про дверь. Про то, что прыгнула. Про человека с самострелом. Чёрного, без лица.

— Без лица, это как?

— В маске. Или в мешке на голове. Чёрном. Я не разглядела, было темно.

— Рост?

— Не знаю. Он на колене стоял.

— Ушёл куда?

— Спрыгнул с навеса. Побежал. Я не видела куда. Когда я выглянула, площадь была пустая.

Граф помолчал.

— А где вы были, Жернова, до того, как услышали навес?

Я открыла рот. Закрыла.

— На тюфяке, — сказала я. — У двери.

— Всю ночь?

Я посмотрела на посла. Он сидел на кровати, в халате, с собачкой, и смотрел на меня. Я посмотрела на графа. У графа звенит. Я это знаю.

— Нет, — сказала я. — Не всю. Я ходила на кухню. Учиться печь. На час. Даже больше.

Граф ничего не сказал. Он только посмотрел на меня так, что мне захотелось провалиться через пол прямо в зал.

— Она была не одна, — сказал посол. — Я пошёл за ней. Я обошёл вашего сабельщика, он спал. Это моя вина, граф. Она меня охраняла. На кухне.

Граф посмотрел на него. Потёр ухо? Нет. Не потёр. Посол говорил правду.

— Понятно, — сказал граф. — Жернова, если вы ещё раз уйдёте с поста ради каравая, я вас отправлю считать телеги

до следующего Урожайника. Сабельщика капитан Гро выпорет сам, я его знаю. — Он повернулся к болту. — Нелли.

Нелли подошла к спинке кровати. Наклонилась к болту. Закрыла глаза. Понюхала, сперва коротко, потом длинно.

— Гусиные перья, — сказала она. — Свежие, с этого месяца. Клей рыбий. Железо, кованое, не наше: у Торвальда другой уголь, у него берёзовый, а тут дуб. Дерево ясень. Руки. — Она нахмурилась. — Руки были в перчатке. Кожаная, хорошей выделки. И ещё…

Она понюхала ещё раз. Дольше.

— И ещё что-то сладкое, — сказала она. — Еле-еле. На перьях. Цветочное. Не разберу. Слишком мало. Стекло мешает: тут всё стеклом пахнет и им. — Она кивнула на посла. — Лимоном. У вас, ваша светлость, сильные духи. Они всё забивают.

— Простите, — сказал посол.

— Ничего, — сказала Нелли. — Я привыкну. Я к Тиму привыкла, а он чистит сапоги ваксой, от которой мухи дохнут.

Тим посмотрел на свои сапоги и ничего не сказал.

* * *

Болт граф вынул сам, клещами. Завернул в платок и отдал Тиму. Ингрид вылезла в окно и обошла навес. На краю, у водостока, она нашла след. Один. Носком в дранку, будто кто-то оттолкнулся. Сапог небольшой.

— Небольшой, — сказала Ингрид, залезая обратно. —

Как у подростка. Или как у женщины.

Она сказала это просто так. Никто ничего не подумал. Я тоже.

А когда все ушли и стало светло, я посмотрела на часы на ратуше. Без семи пять. Значит, было пять.

В шесть мне надо было стоять у Бруниной печи.

— Тильда, — сказал посол из комнаты. Он так и сидел на кровати. — Ты пойдёшь печь каравай?

— Пойду.

— После всего этого?

— Бруна сказала, на рассвете. Рассвет. Если не пойду, она запишет «не пришла». Это хуже, чем «треснул».

Он смотрел на меня. Потом встал.

— Я пойду с тобой.

— Ты должен лежать. Тебя чуть не убили.

— Меня чуть не убили четыре раза, — сказал посол. — Если я буду лежать после каждого, я пролежу до Урожайника. Я пойду. Я буду смотреть. Смотреть она не запрещала.

* * *

В пекарне у Бруны было жарко, как в бане, и пахло так, что у меня закружилась голова. Печь гудела. Бруна стояла у печи в огромном фартуке, с книгой под мышкой, и при ней были свидетели: Марта Пим с тетрадью и вдова Мартенс. Они сидели на мешках у стены, как куры на насесте.

— Невеста пришла, — сказала Бруна. — Записываю: пришла. А это кто?

— Жених, — сказал посол. Он вошёл за мной, в халате, поверх которого накинул камзол. В волосах у него ещё была мука, с ночи. — Я буду смотреть. В книге не сказано, что жених не может смотреть.

Бруна подумала. Открыла книгу. Полистала.

— Не сказано, — признала она. — Смотри. Только рот не открывай. И руки за спину. Знаю я вас, женихов.

Я стала у стола. Мука горкой. Ямка. Закваска. Вода. Соль.

И стала месить.

Ладонью от себя. Подвернуть. Повернуть.

Я не била. Я гладила. Я не знаю, как объяснить. Я стояла у Бруниного стола и думала не про тесто. Я думала про болт в спинке кровати. Про то, как у него тряслось плечо. Про то, как он уткнулся лбом мне в плечо и сидел так. Я думала, что он мог умереть сегодня ночью, если бы не навес, если бы я не услышала, если бы мы не пошли спать на полчаса раньше. И что он месил со мной тесто, за час до того, и смеялся, и я вытерла ему муку со щеки.

Тесто под моими руками стало мягким. Я не заметила, когда.

— Ишь, — сказала Бруна за спиной. — Ишь ты.

Я положила его в миску. Накрыла. Поставила к печи. Села на мешок. Бруна села рядом. Марта Пим что-то записывала. Посол стоял у двери, руки за спиной, как велено, и смотрел. Не на тесто. На меня.

Тесто поднялось.

Не сразу. Через час. Но поднялось, медленно, будто раздумывало, стоит ли. Бруна заглянула под полотенце и сказала «ну-ну». Я сформовала каравай. Он вышел кривой: одна сторона выше другой. Я хотела поправить, Бруна сказала «не трожь», и сунула его в печь на лопате.

Мы ждали. Пекарня молчала. Только печь гудела.

Бруна вынула каравай.

Он был кривой. Одна сторона выше, другая ниже, и сбоку трещинка, небольшая, будто он улыбался краем. Корка тёмная, блестящая. И пахло от него так, что вдова Мартенс сказала «ох» и прижала руку к сердцу.

Бруна взяла его на руки, как берут младенца. Постучала по донцу. Звук был глухой, правильный. Понюхала. Отломила от бока, где трещинка, кусок. Пожевала. Долго.

Мы все ждали. Я не дышала.

— Кривой, — сказала Бруна. — И треснул. Вот тут, видишь?

У меня упало сердце.

— Но живой, — сказала Бруна. — Тёплый. Кто его месил, тот не злой был. Записываю.

Она открыла книгу. Послюнила карандаш. Написала, медленно, вслух:

— «День шестой. Тильда Жернова, невеста. Каравай испекла. Кривой, а живой. Треснул сбоку, но смеётся. Жених смотрел. Руки держал за спиной. Мука у него в волосах с ночи, откуда, не говорит». — Она подняла на посла глаза. —

Не говоришь?

— Не говорю, — сказал посол.

Бруна понюхала воздух рядом с ним. Посмотрела на муку в его волосах. На меня. На каравай. И улыбнулась так, как улыбается кошка, когда мышь сама залезла к ней в миску.

— Ладно, — сказала она. — Не говори. Я и так знаю. Смотрел, значит. — Она закрыла книгу. — Кто смотрит, как девка тесто месит, тот уже жених. Это не в книге. Это я тебе так говорю.

Посол покраснел.

Я не знала, что он умеет. Он покраснел, как Йорген-младший, не щеками, а весь, от шеи до ушей. Он, который на площади читал стихи моим братьям и падал под меня на камни с улыбкой. Он стоял у двери Бруниной пекарни в халате, с мукой в волосах, и был красный, как свёкла.

Бруна отломила от каравая ещё кусок и сунула ему в руку.

— На, — сказала она. — Ешь. Тебе силы нужны. Тебе её через брод нести.

Он ел. Я смотрела, как он ест мой хлеб. Кривой, треснувший, живой.

Кеша сидел на Бруниной вывеске и ждал, когда мы выйдем. Мы вышли. Он вытянул шею.

— Понёс?

— Нет! — сказала я. — Отстань! Я каравай испекла!

Кеша подумал. Почесал лапой затылок.

— Ка-ра-вай, — сказал он не своим голосом, скрипучим,

с передышкой. — Го-дит-ся.

И улетел за реку, докладывать.

Глава 7. В которой виконт учится падать

После болта граф переменил всё.

Ставни на окне посла заколотили снаружи, оставили щель в ладонь, для воздуха. На навес по ночам стали сажать сабельщика, того самого, что храпел на стуле: капитан Гро сказал, что на навесе он храпеть не будет, потому что свалится. Дверь посла Торвальд перевесил на новые петли, кованые, а задвижку поставил такую, что ею можно было запирать городские ворота.

А меня граф перевёл внутрь.

— В комнату, — сказал он. — К окну. Дверь в прихожую не закрывать, для приличия. Спать будете на сундуке.

— На каком сундуке?

— На том, что у окна. Он длинный. Камердинер говорит, там гардероб для торжественных случаев. Гардероб не пострадает.

Камердинер, лысый и хитрый, при этих словах посмотрел на посла. Посол посмотрел на камердинера. Потом посол сказал «разумеется», и камердинер ушёл, качая головой.

Так я стала спать на сундуке. Он был кованый, длинный, как раз в мой рост, если подогнуть ноги, и холодный. Я постелила на него тюфяк. Под тюфяком был замок, большой, и он упирался мне в бок. Я каждую ночь думала, что там внут-

ри. Я не открывала. Я страж, а не вор.

Посол спал в двух шагах. Он засыпал не сразу. Он лежал и говорил со мной в темноте, через щель в ставнях падала полоска лунного света, а я лежала на сундуке и отвечала. Теперь уже не через дверь.

* * *

На седьмой день он попросил меня научить его поднимать мешки.

Он попросил за завтраком, при Руте. Рута принесла нам кашу, попробовала, посчитала до пяти, сказала «ешьте», а он взял ложку и сказал, глядя в кашу:

— Тильда. Ты научишь меня?

— Чему?

— Поднимать. Носить. Бруна говорит, брод сорок шагов. Герцог говорит, сто девяносто фунтов. Я сегодня ночью посчитал. Если я сейчас начну, у меня двадцать дней. Если не начну, я тебя уроню.

Рута, у двери, сказала «ох» и ушла, но не сразу.

— Зачем тебе? — сказала я. — Это же понарошку. Смотрины, брод. Ты уедешь после Урожайника.

Он поднял глаза.

— Понарошку, — повторил он. — Да. Но если я тебя уроню, весь город увидит, как ты падаешь в Иву. И Марта Пим запишет. И твои братья заставят меня таскать мешки до следующего Урожайника, а я к тому времени буду уже в Альвизе, и они приедут за мной туда. Все семь. Я видел их глаза.

Я засмеялась. Он нет.

— И ещё, — сказал он. — Я не хочу, чтобы ты падала в Иву. Даже понарошку.

* * *

Мы пошли на мельницу.

Это была моя мысль. Где ещё учиться таскать мешки, как не там, где их таскают? Петер, мельник, сказал: «Берите, сколько надо, только не уроните в запруду», а Лотта, слепая, повернула к послу лицо и сказала: «От вас пахнет лимоном и страхом. Лимон мне нравится». Посол поклонился ей так, будто она была королева, хотя она его не видела.

Братья были на мельнице. Все. Они таскали мешки с телег под навес, и когда мы пришли, остановились и стали смотреть. Так смотрят на представление.

— Мешок, — сказала я. — Целый, четыре пуда. Смотри.

Я показала. Присела, обхватила, рывком на колено, с колена на плечо. Встала. Мешок лёг на плечо, как родной.

— Теперь ты.

Он присел. Обхватил мешок. Тонкими руками, через кружевные манжеты, которые он, правда, догадался подвернуть. Дёрнул.

Мешок не шелохнулся.

Он дёрнул ещё. Мешок чуть приподнялся одним углом и лёг обратно, как ложится сытый кот, которого пытаются сдвинуть с печи.

— Спиной тянешь, — сказала я. — Ногами. Ноги толка-

ют, руки держат.

Он попробовал ногами. Мешок поднялся на вершок. Он покраснел. Жилы на шее вздулись. Мешок поднялся ещё на вершок, а потом он его уронил. Мешок упал ему на ногу. Он сказал слово, которого я от виконта не ждала. Не по-альвизски. По-нашему. Я его слышала только от возчиков.

Бажен у телеги хрюкнул в кулак.

— Полмешка, — сказала я. — Начнём с полмешка.

Петер насыпал нам половину. Два пуда. С этим он справился. Поднял на колено, с колена на плечо, качнулся и встал. Стоял, держа на плече два пуда, весь красный, с мокрым лбом, и смотрел на меня так, будто поднял Каменец.

— Ну? — сказал он.

— Неси, — сказала я. — До навеса. Двадцать шагов.

Он понёс. На пятнадцатом шаге у него задрожали ноги. На восемнадцатом он сел. Мешок съехал с плеча и сел рядом с ним, как пёс.

— Восемнадцать, — сказала я. — Хорошо. Завтра двадцать.

* * *

Мы ходили на мельницу каждое утро, до завтрака. Два пуда. Потом два с половиной. Потом три. Он не жаловался. Я ждала, что будет: виконт, кружева, руки белые. Ничего такого. Он вставал в шестом часу, раньше меня, одевался в самое простое, что у него было, в серую рубаху и штаны, и стоял у двери, когда я просыпалась на своём сундуке.

На второй день у него на ладонях вскочили волдыри. Я видела, как он морщится, когда берётся за мешок. Я велела ему показать руки. Он показал.

Ладони были в волдырях, в красном. А под волдырями, поперёк ладоней, были мозоли. Старые. Жёлтые, твёрдые, полосами, как будто кто-то много лет держал в руках верёвку и тянул.

Я смотрела на эти мозоли. Он видел, что я смотрю.

— Фехтование, — сказал он.

— От рапиры поперёк не бывает, — сказала я. — От рапиры вот тут, у большого пальца. У Ингрид так, она ножом. А это верёвка. Канат. Так у лодочников на Иве. У тех, кто баржи тянет.

Он отнял руки.

— У нас в Альвизе, — начал он.

— Юношей знатных фамилий учат тянуть баржи?

Он засмеялся. Немножко слишком весело.

— Паруса, — сказал он. — У нас в Альвизе есть море. Я в юности ходил под парусом. Это… это было увлечение. У знатных юношей бывают увлечения.

Я не знаю, что такое ходить под парусом. Я моря не видела. Я не знала, что сказать. Может, правда. Может, у них там все тянут канаты.

Я намазала ему руки гусиным жиром, который мне дала Рута, и завязала тряпицами. Он сидел на мешке и смотрел, как я завязываю. Так же, как в первый день смотрел, навер-

ное, на свою собачку: внимательно и как будто удивлённо.

— Ты всех так лечишь? — спросил он.

— Всех. Братьев. Возчиков. Лошадей. Лошадей чаще.

— А меня как лошадь или как брата?

Я затянула узел. Посмотрела на него.

— Как посла, — сказала я. — На службе.

Он кивнул, серьёзно. Но я видела: у него дрогнул угол рта.

* * *

Падать он умел.

Это я поняла на третий день, когда решила научить его прятаться. Граф велел: если что, посол должен знать, что делать. Куда бежать, за что прятаться, как падать, чтобы не убили.

Я ему показала. Как падают у нас на заставе, когда над головой свистит. Вниз, лицом в землю, руки на голову. Я упала в солому у мельницы, тяжело, с размаху, как мешок. Встала, отряхнулась.

— Теперь ты.

Он посмотрел на меня. Потом на солому. Потом упал.

Я не знаю, как это описать. Он не упал. Он как будто стёк. Колени, бедро, плечо, и вот он уже лежит, свернувшись, руки на голове, и ни одного звука, ни одного удара. А потом откатился, мягко, как кошка, и оказался за мешком, на корточках, готовый бежать.

Братья у телеги перестали таскать мешки.

— Ещё раз, — сказала я.

Он упал ещё раз. С разбегу. Бросился вперёд, через плечо, кувырком, и встал на ноги, ни разу не коснувшись головой земли.

— Где ты так научился? — спросила я. Уже который раз.

— Фехтование, — сказал он. И сам, кажется, засмеялся, потому что понял, сколько раз уже это говорил.

— Научи меня.

Он поднял брови.

— Тебя? Падать?

— Я падаю, как мешок. Больно. На заставе у всех синяки. Если ты падаешь так, что не больно, научи.

И он научил.

Это было смешно. Братья потом говорили, что за всю жизнь не видели ничего смешнее, а они видели, как Бажен спал в отрубях. Он учил меня падать в солому у мельницы. Он показывал: вот так, колено, бедро, плечо, не руку выставлять, а катиться. Я падала, как мешок. Он говорил: нет, ты падаешь, как будто тебе не всё равно, куда. Тебе должно быть всё равно. Отдайся земле. Я сказала, что не умею отдаваться земле. Он сказал, а ты попробуй. Я попробовала. Я упала на него.

Это было в пятый раз. Нелли потом в тетради у Марты Пим поставила крестик.

Но к вечеру я падала так, что не было больно. Почти. Я упала с разбегу через плечо в солому и встала, и у меня ничего не болело, и я засмеялась, и он засмеялся, и братья у

телеги захлопали, все семь, тяжело, как будто лопатами.

— Ты меня падать, я тебя мешки, — сказал он. — Это справедливо.

— Это не одно и то же.

— Почему?

— Падать каждый может. А мешок…

— Падать каждый может, — согласился он. — Но не каждый может встать. Это у нас главное. — Он помолчал. — В фехтовании.

* * *

В тот же вечер учитель танцев позвал нас обоих во двор, за конюшню.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.